Алесь Адамович

Немой

"ICH WERDE DICH SCHÜTZEN"[1]

БЫЛЬ

Памяти брата

Неужели это мы? Значит, способны на такое, можем быть такими? Снова и снова задаешь вопросы, читая или видя на экране телевизора, с какой безудержной яростью, а то и жестокостью решаются национальные, клановые и политические споры на просторах недавно общей державы.

Когда в 41-м немцы-фашисты убивали советских военнопленных на глазах у жителей моего поселка, старуха, напрочь раздавленная бессмысленной гибелью в застенках НКВД ее мужа (вместе с еще восемью десятками заводских рабочих), причитала в слезах: «Чего хотеть от чужих, когда свои вон что творили?». О, эти «чужие» и эти «свои»! Как легко осуждаем других и как трудно поворачивается язык сказать жестокую правду себе, собственному народу, даже если верх в нем берут или взяли уже «свои» подонки и расисты (как бы они себя ни называли). Много мы слышали самоосуждающих голосов хотя бы от известных всей стране интеллигентов из Азербайджана и Армении, из Киргизии и Узбекистана, из Молдовы и Таджикистана? Мир похолодел от Сумгаита и Ходжалы, от Ферганы и Оши, от Бендер и Курган-Тюбе. Миллионы людей во всех странах в ужасе, а наша национальная интеллигенция помалкивает. И в Прибалтике помалкивает, и в Грузии, никто не сказал, не говорит «во весь голос» собственному народу, что шовинизм «малого» народа столь же отвратителен, как и

---

[1] «Я тебя защищу» (нем.).

любой другой, что имперские замашки по отношению к собственным «меньшинствам» подрывают и твои права на самостоятельность. И добром это никогда не кончается. Свидетельством чему — Осетия, Абхазия, Приднестровье. О российских и украинских «наших», открыто и самозабвенно демонстрирующих свою нацистскую родословную, и говорить не хочется, хотя понимаем: вирусы расизма в столь огромном теле — опасность уже для всей планеты.

Не будем недооценивать подобную же опасность и для относительно спокойных Беларуси или Казахстана. Мы уже убедились: это прорывается неожиданно и, казалось бы, «из ничего».

Видя все, переживая, сопереживая с другими — а беспокоит, мучит это всех, — я вдруг вспомнил реальную историю белорусской девочки и молодого немецкого солдата — из минувшей большой войны, из времен фашистского озверения целых стран и континентов. Они, почти еще дети, сумели переступить через мощнейшие националистические и государственно-идеологические мифы, догмы и исполнить на земле свою Человеческую миссию — быть братом, сестрой, быть любовью, быть человеком для другого человека.

У нас пересыхает горло, перехватывает дыхание, когда надо сказать жестокую правду о нас самих. Тогда пусть они ее скажут, за нас — девочка и юноша оттуда, из самой ночи гитлеризма и сталинизма.

Это — авторский ответ на вполне законный, вероятный вопрос: снова о войне, зачем?

1

В деревне Петухи решили затаиться и отсидеться несколько дней

Gross Dorf Pietuchi.[2]

Работа айнзатцкоманды взбудоражила всю округу. На каждой опушке засады, обстрелы, на дорогах мины. Разворошили партизанское гнездо. А эта деревня от леса отгорожена речушкой, сама на горке. Вырыли окопы для пулеметов, расставили в садах легкие танки и бронетранспортеры и зажили мирно. По два, по три солдата в каждой избе, на семью. Караульные взводы разместились в удобно расположенных в концах улицы бывшей школе и колхозной

[2] Большая деревня Петухи (нем.).

конторе. Приказали, и местные женщины вычистили, вымыли загаженные комнаты, им за это заплатили по три марки. Пусть никто не говорит, что у штурм-банфюрера Оскара Пауля Дирлевангера служат не солдаты, а бандиты, уголовники.

Штурмбанфюрер самолично имел политическую беседу с младшими офицерами, а те — с солдатами: как вести себя на этот раз, в этой деревне. Никаких угроз и конфискаций, за услуги благодарить и даже платить, смело вступать в личные контакты-все, как в цивилизованной стране. А когда наступит день акции (о нем сообщено будет дополнительно), всех хозяев своего дома ликвидировать, дом и все постройки подджечь. Словом, дальше действовать, как и в других деревнях. Скот, особенно крупный, как и раньше, не уничтожать, выгнать из сараев, передать погонщикам.

При этом каждый обязан с первого же дня зафиксировать, сколько членов семьи под его контролем, распределить, кто и за кого лично отвечает в день, акции — за то, чтобы не убежали, не спрятались. Особенно важны последний день и ночь перед ликвидацией: они, как животные, чуют близость бойни.

Молодого солдата Франца Ш. (молод по-настоящему, семнадцать лет, призван по тотальной мобилизации) прикрепили к напарнику-опытному, надежному, проверенному в деле. Отто Залевски, по нормальным армейским меркам, можно сказать, уже старик, он из деревенских жандармов. Тоже тотальник, но не 1943 года призыва, а 1942-го. После Московской битвы, тогда как Франца фюрер позвал после Сталинградской.

Франц в боевое подразделение попал прямо с Бобруйского вокзала вместе с тяжелым вооружением, которое прибыло специально для этого батальона. Так что деревня Петухи-его боевое крещение. Говорят, тут самый змеюшник партизанский. Как выразился штурмбанфюрер, тут и курица-партизан.

Однако Францу в это не легко было поверить, когда он видел местных жителей-что в Бобруйске, что в этой деревне. Запуганы и какие-то пришибленные: с готовностью уступают дорогу, в глаза, правда, стараются не смотреть (дети, те глядят с испуганным любопытством), но, если немец окликнет, послушно подойдут и даже несколько слов по-немецки скажут, какие знают. «Никсфарштейн» — даже с гордостью, что тоже могут по-немецки.

Если по совести говорить, то Францу куда больше не нравятся местные полицейские: лживо-подобострастные, а тем не менее в руках у них оружие. Что он там на самом деле думает и что сделает в следующий миг-разве знаешь?

Ситуация, в которой он сразу же оказался в Петухах, для любого не проста. А Францу, новичку, как ему даже вообразить, что сегодня он с этими вот людьми живет в одной хате, они ему греют воду, жарят яичницу, с ними он разговаривает, смеется, а завтра он их всех убьет? Встанет утром, поздоровается, почистит зубы, посидит за столом, переглядываясь с Полиной, молодой хозяйкой, а затем они с Отто посмотрят на часы и лязгнут затворами…

Переглядываться и пересмеиваться Франц с девушкой начали не сразу, лишь со второго дня, потому что сперва ему показалось, что в этой избе-две старухи. Старая, седая старуха с какой-то нелепой постоянной улыбкой и старуха помоложе, ничуть не краше той, первой. Даже грязнее, и вся обмотана каким-то рваньем, а еще и прихрамывает, горбится.

Но назавтра утром вторая старуха куда-то пропала, исчезла, а объявилась почти девочка — черноглазая, с коротко остриженными волосами, с любопытством и как бы насмешливо приглядывающаяся к Францу. Юбка та же, по-деревенски длинная, грязного цвета, но кофта беленькая, даже с какими-то вышивками. Не подозревая, что Франц по-русски понимает (отец его побывал в русском плену, и дома у них немало русских книг, даже Библия есть на славянском), старая старуха шипит на свою, видно! дочку, не поворачивая к ней лица:

— Что это ты себе позволяешь, язви твою душу? Перед кем ты выфрантилась? Что гэта с тобой робицца?

Отто, хотя он по-ихнему ни слова, тем не менее видит и понимает происходящее получше Франца. Объяснил. Они тут все так… которая помоложе и покраше, неприглядрее, лицо, шею сажей измажет, извозит, чуть не в навозе, руки, ноги, нарядится, будто сарай чистить, — она тебе и хромая и горбатая, только не трожь ее! Не покушайся на ее прелести!

А эта, гляди ты, сразу переменила тактику, как только ты появился, — гордись, Франц!

Старому Отто порученный его отеческой опеке молодой солдат, прямо из гитлерюгенда* даже понравился. Хотя горожане, да еще эти горластые, наглые юнцы, ему не очень по душе. От них старику, да еще деревенскому, всегда можно ждать какого-нибудь подвоха, неприятности. Один уже был у него такой, быстренько схватил должность цугфюрера, взводом командует, и Отто теперь у него в подчинении. Напрочь забыл, какой был смирненький в первые дни, как смотрел в рот бывалому солдату, ловил каждое его слово, совет, а теперь на Отто глядит всегда с насмешечкой, всякий раз при построении интересуется: «Hast du dein Scheiss beendigt?», посрал ли

герр Отто, а то цуг, взвод может его и подождать.

А с Францем еще и такого жди: подстрелит сдуру, никак не натешится полученным шмайссером, возится, как с игрушкой, заряжает, перезаряжает. На Отто смотрит, как бы жалея его, у старика всего лишь винтовка. С ними, с этой девицей, по-ихнему разговаривает, хихикают, не над Отто ли? Когда успел и где так насобачиться по-русски? У Отто вон какая фамилия, почти славянская. Но он их язык учить не будет.

2

Присмотревшись к немцам, которые поселились в их избе, послушав, что соседи рассказывают про своих постояльцев, Полина действительно перестала бояться. Нет, страх, ужас перед тем, что немцы натворили в соседних Борках и Каменке, не уходил, давил. Но не Франца же ей бояться, этого дылду-парнишку, которому трудно с собственными руками-ногами справиться, похожего на вывалившегося из гнезда ястребенка? Шестнадцать лет — это шестнадцать лет. Именно столько исполнилось Полине в январе. Так хочется верить в лучшее. Ну, а немцу этому — намного ли больше? Хотя и напялил мундир, ремнями и какими-то термосами обвешан, как огородное чучело, с автоматом и спать ложится, воняет лошадиным потом и какими-то помадами, одеколоном. Без смеха посмотреть на него не удается. И все время видишь его голубые глаза. Даже спиной чувствуешь.

Стоило ей одеться по-людски, нос сполоснуть, как тут же женским чутьем поняла: этот парень ее, трудов больших не понадобится. Правда, он немец, и совсем не те времена, когда на вечеринках играли в такие игры. Но шестнадцать есть шестнадцать. Ее внезапное преображение — повод для веселых, шутливых переглядываний. Будто разыграли они кого-то третьего. И все еще разыгрывают — старого Отто, например. Так его жалко — с его тусклыми, безразличными глазами, индюшечьей морщинистой шеей. Умереть можно, слушая, как они, старики — Отто с матерью Полины, — беседуют. Старуха обращается к нему, как к глухому. Видно, ей кажется, что громкие слова чужого языка ему понятнее.

— Пан, а пан, воды теплой надо, бриться, говорю, будете? Что фронштейн, что фронштейн: я говорю, годиться будете?

Часть жителей заранее убежали в лес, на болото. Живы они, нет — никто не знает. Везде немцы предупреждают: кого в лесу застанут — всех постреляют. А в деревне все-таки не так страшно. Но тоже

страшно. И еще как! Петуховцы, кто остался в своих хатах, пользуются любырл поводом, случаем, чтобы узнать, услышать от соседей успокаивающие слова, новости. Друг другу с надеждой сообщают: а вроде ничего, не лютуют, на каждом шагу: «данке! данке!», не похоже, что задумали что-то благое. (По-белорусски «благое» — это «плохое».) Можно видеть, как мирно моются, полощутся немцы в просторном дворе Францкевича у колодца, дети им поливают спины холодной водой: оханье, смех. Всех пора жает, как часто и помногу они едят. Целыми днями над деревней стоит чадный дым из печных труб: приготовишь им ранний завтрак, тут же ставь второй, тут же обед и еще полдник-и так до поздней ночи. Как в прорву, как на погибель едят. Ну, да только бы людей не трогали. Продукты у них свои есть. «Свои» — те, что нахватали в других селах: свиней, гусей на подводах везут, муку и даже картошку выгребли. А петуховское не трогают, ничего не скажешь.

Деду Пархимчику солдаты помогают ворота ставить. Старые завалились, он заготовил дерево под новые столбы, и теперь навешивают на них ворота. Пархимчик, бывший бригадир колхозный, даже покрикивает на немцев:

— Старайся, хлопцы, а то трудодней не запишу!

Чем сильнее и нестерпимее ожидание чего-то ужасного и неотвратимого, тем самозабвеннее люди стремятся к малейшему проблеску надежды. И потому со стороны могло бы показаться, что не к казни, убийству. готовят деревню, и не судорожно отпихивают жители v от себя жутчайшую правду, а вроде готовятся к какому-то празднику-бабы бегают друг к другу за всякой мелочью, возбужденно обсуждают происходящее, глаза блестят.

Успокаивает жителей, однако, то, что разрешают выходить из села, если ты на далекое поле направляешься, и входить в село-даже из лесу две семейки вернулись, когда прослышали, что так ведут себя немцы, в лесу еще страшнее дожидаться неизвестности.

А у Полины с Францем вообще все в порядке. Тем более что он знает русский. Говорит, правда, медленно отыскивая слова и растягивая их, как ребенок, иногда путает ударения, но к этому привыкаешь. Как привыкаешь к заиканию давно знакомого человека. Почти перестаешь замечать. А у них у обоих такое чувство, будто не три дня, а со школы знакомы. Слова им не очень-то и нужны. Усмешка, короткий жест или взгляд, еле заметное пожимание плечами-и они все сказали друг другу, и все поняли. Ну, а если старикам это не нравится, непонятно-тем забавнее и веселее играть в эту игру Полине и Францу.

Отец (теперь Франц это оценил) незаметно, но очень умело направлял его интересы и способности именно к языкам-латинскому, английскому, русскому. Только сейчас Франц начал понимать: тем самым его фатер сопротивлялся общему поветрию-ничего кроме своего в мире не^ценить, все свести к немецкому корню, смыслу, пониманию. То, что Франц особенно увлекся русскими книгами, а поэтому и языком, видно, заслуга (или вина) Достоевского. Он притягивал тем, что пугал. Когда был ребенком, сестра дала Францу в руки столовый нож и вдруг поднесла к нему красную подковку-магнит — нож вместе с рукой потащила неведомая сила. Даже вскрикнул и уронил нож. Такая же пугающая сила в книгах этого русского писателя. Что-то вытягивает из тебя, чего прежде вроде и не было, будто и не ты это.

Для Полины Франц мало чем отличался от тех парней из соседних сел, которых приманивали знаменитые на всю округу петуховские вечеринки: приходили навеселе, вначале держались сплоченной группой, готовые к отпору, если их обидят, а к ночи разбредались за петуховскими кралями, кто куда, как телки послушные, приходилось их защищать, опекать, не давать в обиду местным ревнивцам. Франц таскал воду, колол дрова, даже рассаду капустную эта девка заставила высаживать на огороде-старика Отто это заинтересовало. Он стоял у забора с трубкой во рту и с удовольствием наблюдал, как гитлерюгенд неумело гнется над грядкой, а на шее автомат болтается; гребется, как курица, в земле, измазал от неумелого старания нос, шею.

Старая Кучериха время от времени отлавливала дочку, шипела, как гусыня (но кто-то сказал бы — добрая гусыня):

Остановись, девка, что ты себе позволяешь? Что ты над ним свои штучки вытворяешь? А если его командирам это не понравится?

А вы знаете, мама, ему чуть больше годов, чем мне. А вырос-гляньте, какая дылда!

Вы уже и годиками померялись! Дурное и есть дурное, то-то же, дитя малое. Да только это тебе не игра. Ох, еще покажут они себя, чует мое сердце!

И показал... В ту же ночь.

Пожалуй, ни одна девушка не нравилась так Францу, как вдруг эта приглянулась — из бандитской деревни. Да если по совести, ничего серьезного и не было еще у него с женским племенем. Хотя среди одногодков, особенно когда был в юношеском лагере «Сила через радость», не хуже других выставлял себя опытным ловеласом, неотразимым самцом, который не с чужих слов знает что почем. А

сам даже к проституткам не ходил, куда у юнцов из лагеря тропка была налажена. Не только из боязни заразиться, сказывалось и домашнее воспитание в семье пастора.

И вот перед ним та, в которую, еще немного, и он влюбится по-настоящему. Но времени на это не будет... Он же так и не познает того, о чем столько говорят, пишут в книгах, в кино показывают — притом не с падшей, а вот с такой чистой, привлекательной. С этим холодным вроде бы расчетом: не упустить! — как-то соседствовало, уживалось чувство влюбленности. Оно, это чувство, даже обострилось от хищных намерений, мыслей, все больше им овладевавших. От беззащитности и обреченности девушка становилась все желаннее. К третьей ночи только об этом и думал, ужинали, никому в глаза не мог посмотреть. Девушка понимала это по-своему и дразнила его еще больше: подсматривая за ним, ловя его взгляд. Так и глупый щенок начинает играть перед оскалом волка.

Что еще жило в его сознании, как это ни странно, — протест. Жестокость, эгоизм желания против жестокости догмы, идеологии.

Ведь расовый закон ему этого не позволяет. Убить разрешает и даже обязывает это сделать. А вот подобным прелюбодеянием унизить свою расу — что скотоложество. И того хуже, опаснее: скотина тебе свою идеологию не передаст.

Что обо всем этом говорит закон, исповедуемый его отцом, протестантским священником, Франц может вспомнить, но руководствоваться им немец не обязан. Фюрер освободил от этой обязанности, дал свой завет, закон. Но теперь именно с законом расы спорил эгоизм молодого немца, не возвращаясь, однако, к отцовскому. Новые скрижали вознаграждают его верность лишь трупом. И отнимают радость обладания живым. Где же сила через радость? Что-то тут не так, мой фюрер, это прельстит разве что Отто, для которого важнее всего — собрать вкусную посылку и отослать ее своей жене...

Что произошло в ту ночь на кухне, на широкой лавке у окна, где на ночь расположилась Полина, темнота разглядеть не позволила ни Куче-рихе, ни старику Отто (она спала на печи, он — в другой комнате).

Я же эту сцену словно вижу, сам пережил нечто подобное.

Лет за пять до войны к нам в гости приехали тетка с мужем и их племянница. Был я еще пятиклассником-школьником. Очень мне приглянулась племянница, целыми днями мы с нею носились по двору и дому, обливали друг друга водой, щипались, она на меня жаловалась, и нас обоих стыдили, ругали — моя мама меня, тетка ее.

А когда погасили свет, легли спать, я во тьме пополз, чтобы напугать их. Дополз до стола — дальше их кровать и диван — и крикнул по-дурному: «А-а-а!» Что-то громко фыркнуло, зашипело, как клубок змей, и по моей физиономии, по шее прошлись чьи-то когти. Да такие острые, бешеные Мне бы вовремя вспомнить, что у нашей кошки родились котята, и коробка, их постелька, под столом. Ничего не соображая, завопил, как резаный. Испуг был всеобщий. Пока не зажгли свет, не увидели меня с расписанной физиономией и не поняли, что произошло. Меня тут же раскрасили еще йодом, долго не могли успокоиться-потом уже и от смеха.

В избе Кучерихи смеялся только Отто Залевски. Остальным было не до того. Франц выбежал за дверь, на улицу. Полина бросилась на печь, к матери под крылышко. И затаились обе.

Утром женщины поднялись по обыкновению раненько, осторожно возились около печки, доили корову, кормили кабанчика, курсй — все как всегда. Вышел к ним Отто, выспавшийся, очень довольный прошедшей ночью. Они его обслужили теплой водичкой: подрезал свои усы, побрил морщинистые щеки и шею, чаще обыкновенного повторяя: «Дайке, гут, гут!» Франц вышел из спальни, как выбежал, звякая оружием и металлическими коробками на поясе, отворачивая исцарапанную, с воспалившимися шрамами, физиономию. Не поздоровавшись, убежал на улицу. Куче- риха проводила его испуганным взглядом, даже Полина, вся присмиревшая, бледная, стояла у шкафа, виновато молчала. Отто же просто светился весь, как новый пятак.

— Лыбится, будто подмазку съел! — не выдержала Полина. Кажется, она обижена за Франца. t

Старая Кучерха* на нее накинулась:

— Ты хоть гэтага не чапай, не трогай! Хватит, уже доигралась. Полина тихонько шмыгнула за дверь. Вернулись они оба, мирнень кие, благостные (что она ему там говорила, чем утешила?), хоть ты их иконой благословляй.

— Мама, у нас лой был, гусиный жир. Помазать и пройдет. Выбежала в кладовую, а Франц стоит и неловко улыбается, поглаживая щеки, лоб, шею.

— Война, матка, криг! — пытается шутить.

— Вы ужо на яе не гневайтесь, молодое-дурное, что с нее взять? Слава Богу, хоть старый немец ушел в уборную. Полина уже несет стакан, белонаполненный, ковырнула пальцем.

— У нас так лечат, — объяснила Францу, — если кто ненароком поцарапается. Я смажу ранки, гут? Не больно, чуть-чуть.

Франц покорно наклонился. Полина, водя пальчиком, приговаривала:

— По соломе, по мякине, пусть поболит и покинет. Пока жениться — загоится. Заживет до свадьбы.

3

День расправы приближался выверенным военным шагом. А жителям деревни будто уши заложило, глаза залепило: так им не хотелось в это поверить. Об этом знала одна часть людей (постояльцы), вторая же часть (сами жители) с каждым благополучно прожитым днем все больше верили: пронесло, на них беда не обрушилась, хотя бы на этот раз.

Последнюю ночь, когда уже был отдан приказ осуществить на рассвете (в 8.00) акцию. Франц почти не спал. Отто Залевски сообщил ему распоряжение: больше никого из деревни не выпускать (но тем, кто из лесу возвращается, не препятствовать), по возможности удерживать своих хозяев в хате, предупреждая, что вот-вот может начаться бой с партизанами, они, мол, подходят, окружают. Отто спал вполглаза, несколько раз ночью вставал и курил на кухне, бегал воды попить или на улицу по нужде. Франц лихорадочно думал, представлял, как это будет происходить. Отто у него спросил, ухмыляясь: ты, конечно, молодую выбрал? Что ж, нравится, битте, пожалуйста, а я по-стариковски пригрею старую каргу.

И все-таки задремал Франц, а когда проснулся и услышал на кухне мирные голоса Отто и старухи, все пытающихся объяснить друг другу, какая это нехорошая штука — война, его внезапно прохватил холод, начала бить дрожь. Этого еще не хватало! Как же он выйдет к ним, как посмотрит на Полину, глазами встретится с ней? О, Господи, лучше бы не просыпаться вообще! Не жить, не знать ничего этого. Отец, ты любил повторять слова о чаше, которую Сыну Божьему предопределено было испить до дна. За нас, чтобы и мы свои испытания выдержали достойно. Ну, а сыну твоему —: вот такое выпало. Не я выбираю, за меня Фатерланд, фюрер определили мою ношу. Как с нею быть, что делать мне? У меня остался час времени, кто, кто подскажет?

Слышал, как со двора вошла Полина, гремнула дровами у печки. Перед этим в комнату к Францу забежал бешеный старик: ты что, забыл, твоя побежала куда-то, за нее ты отвечаешь! О, Господи, пусть бы она и правда убежала, не съели бы за это Франца, ну, пусть бы наказали, как следует. Или пускай, если уж на то пошло, Отто все это

проделает, ему это не в новинку.

Слышно, как Полина моет подойник, пойдет корову доить, а сюда снова влетит этот бешеный подгонять Франца. Вот он, аж задохнулся от гнева, слова в горле застряли.

Франц только махнул рукой, навешивая на плечо автомат и направляясь в кухню. Поздоровался с хозяйкой, она пообещала:

— Сейчас Полина молочка свежего принесет, а вы трошки шпацирен. Будет аппетит гут.

— До чего способная к языкам! — Франц улыбкой ответил на ее улыбку. Что ж, Франц погуляет, а то его опекун скоро залает от возмущения.

Франц направился к воротам, выглянуть на улицу. В сарае визжит, требует кормежки кабан, доносится голос Полины, покрикивающей на неспокойную корову. Все так мирно, обыкновенно. И такое солнечное утро. Самое черное в жизни Франца. Выглянул на улицу, там какое-то движение, заведены машины, перебегают улицу солдаты. А вдруг раздумал штурмбанфюрер, это в его власти, вдруг объявят: акция отменяется, уходим. Ну, пусть другой раз, пусть где-то, но не сейчас, не здесь. Поймите же, Полина, Полина! Фюрер мой, Германия, я плохой патриот, сам вижу, но я еще наберусь мужества, воли, решимости. Я сгожусь в дело. Но только не теперь!

Слышно, через все утренние звуки пробивается к Францу, как звонко бьет в дно подойника струйка молока, как ласково уговаривает корову Полина: «Стой смирно, что это с тобой сегодня?»

Ох, девочка, девочка, даже скотина что-то чует, а ты — как же ты не видишь, что готовится? Сказать ей, махнуть на все рукой и предупредить! Ну и что, куда она теперь убежит, где спрячется, когда все начнет гореть, а еще Отто, уж он-то не позволит нарушить приказ! Раньше надо было, хотя бы вчера, позавчера. Чего дожидался, почему этого не сделал? Но это же измена, этим ты предаешь интересы своего народа. А какой там она, эта девчонка, враг для Германии!..

Из распахнувшихся ворот вышла Полина с цинковым подойником в руке, увидела расписанную ею физиономию Франца, смущенно улыбнулась, даже румянец радостный согрел ее щеки. Франц помог закрыть тяжелые ворота. Знакомо вскинула короткие волосы и вдруг торопливо накрыла краем длинной юбки молоко. Пояснила, смущенно засмеявшись:

— Чтобы не сглазили. Чтобы молоко не скисло, вымя у коровы не высохло. Если у тебя плохой глаз.

— Полина, я хочу сказать, — все, что казалось самым важным,

вдруг перестало что-либо значить, — я хочу warnen… предупредить. Плехой человек уже пришел, вам всем будет плехо.

На Франца умоляюще смотрят большие черные глаза: это неправда? Я не так поняла? Ты защитишь!..

— Надо вам… я не знаю что… — сказал и оглянулся на дверь, на ворота. Вдруг громко засмеялся, громко произнес:

— Молоко гут? Молоко корошо!

Как бы передразнивая Отто. Полина на него смотрит с возвращающейся надеждой, а может, она не так поняла? И все не так страшно. Направилась к избе, а Франц, придерживая автомат у пояса, пошел следом.

И постояльцы-немцы, и старуха — все внимательно наблюдают (это всегда завораживает), как молоко льется и пенится в стеклянном кувшине. Старуха уже накрыла стол; неизменная картошка, кусочки сала, сметана, консервы — видно, Отто расщедрился и открыл банку.

Полина взяла другой, непрозрачный, глиняный кувшин, накрыла марлей и цедит молоко в него. С выражением печали и обреченности па лице: Францу припомнились такие лица в музее, куда его часто водил отец, — на картинах с изображением Мадонн. Отто выразительно, не спеша, чтобы другие не обратили внимания, а Франц, наоборот, заметил, достал свои большие серебряные часы и, щелкнув крышкой, посмотрел на стрелки. Заметили однако все: еще бы, такие часы, старинные, такой звук. Кучериха даже потянулась рассмотреть их поближе. Как к лезвию топора в руках палача: острое ли? Ужас сковал голову Франца железным обручем, стали вдруг болеть глаза, даже слезиться от боли.

Невольно посмотрел на свои часы, ручные, подарок матери: без пяти минут восемь! Невольно прислушивался, что за окном происходит: н е началось ли? И в желтых (какие они желтые у него!) глазах, на изрезанном глубокими морщинами лице Отто такое же ожидание. Морщини стая шея стервятника… Оба завороженно смотрят, как льется' пенистое молоко, будто и это связано с ожиданием: кончится и… начнется.

— Вы завтракайте, а я наберу картошки, обед надо варить, — вдруг прозвучал голос старой хозяйки. Испуг на лице у Отто: ситуация усложняется! Женщина за кольцо подняла крышку подпола, в другой руке держит пустую корзинку.

— Dorthin darf man nicht![3] — устремился к ней Отто,

---

[3] «Туда нельзя!» (нем.)

прихватывая стоявшую у стенки винтовку. Старуха, не понимая, что немец имеет в виду, передала ему из рук в руки крышку погреба, и Отто глупо принял ее, держит.

А старуха, продолжая улыбаться, спускается в погреб. И тут глухо застучали за окном, где-то у соседей, выстрелы. — Komm raus,[4] — закричал Отто. Франц смотрит на Полину, которая, уставившись в окно, вслушивается. Лицо такое же белое, как молоко, уже льющееся через край черного кувшина, хлюпающее об пол. Старуха из погреба ни звука, будто и нет ее там. Отто в отчаянии бросил крышку, которую до этого нелепо держал, на пол и, торопливо зарядив винтовку, грохнул под пол выстрелом. Франц от неожиданности вскочил с табурета, а Отто, ощерив прокуренные желтые зубы, крикнул ему:

— Was steckst du da, Scheisser?[5]

И направил винтовку на Полину. Но Полина за спиной у Франца, и Отто не может выстрелить. Выстрелил' Франц. Он и не заметил, как рука вздернула затвор автомата, опомнился, лишь когда автомат забился у него в руках. Сквозь чад, наполнивший комнату, легкие, глаза, сознание Франц видел, как Отто, взмахнув рукой и как бы отбрасывая винтовку, ударившуюся о кухонный шкаф, кренится к печке, хватается руками за нее, будто взобраться хочет. Сползает на пол, а белая боковина печки заплыла красным, расползающимся на глазах у Франца (и в глазах Франца) кровавым пятном.

Как-то отрешенно он услышал звук своего упавшего к ногам автомата. Кто-то его толкает сзади — он переступил через автомат и оказался у ямы, ведущей под пол. А Полина держит его за плечи, наклоняет:

— Туда! Там есть ход. Туда!

Франц попытался объяснить, спросить, но чужие руки цепко и упрямо направляют его куда-то. Только бы подальше от этого ужаса. Франц, вступив на лесенку, сразу же неловко соскользнул с нее и упал коленями на что-то скользкое, уползающее. Руки погрузились в картошку, мокрую, подгнившую.

— О Господи, о боже, о Господи!

Старуха здесь, жива, но ее не видно. А Полина закрывает за собой крышку подпола. Шепчет:

— У тебя фонарик, зажги фонарик!

---

[4] «Вылазь наверх!» (нем.)

[5] «Ты что, засранец, сидишь?» (нем.)

Действует на диво уверенно, рассчитанно, будто не раз с нею такое приключалось. Протиснулась возле Франца, направила луч фонарика в руке Франца на нужную ей стенку и тотчас стала сдергивать, снимать с нее деревянный щит.

— Тихо вы, мама! — прикрикнула на охающую, стонущую старуху. За щитом, оказывается, дыра-лаз. Полина подсаживает мать:

— Вы первая. Только тихо. Не бойтесь, тата учил вас, вы же помните.

Жалко, по-лягушачьи подергались и исчезли в черноте искривленные ноги, на Франца, щурясь — луч фонарика бьет ей в глаза, — смотрит Полина. Большие перепуганные детские глаза, не верится, что это она так деловито распоряжалась. Просит:

— Ползи теперь ты, а я закрою за собой. Там у нас хованка, такой большой погреб. Специально мой фатер сделал для нас. Нас не найдут, не бойся.

Франц полз по холодному песку, плечами, локтями, головой ощущая

....

... [два страницы текста отсутствуют]...

....

— Отто им рассказал, — тихо говорит Полина и непонятно: — Но ты не бойся, он мертвый.

Очнулся, видимо, от близкого взрыва, не понимает, где он, темно, как в могиле, но рядом чье-то дыхание. Ладонью провел по лицу, щемит кожа от соленых слез. В горле першит-это от дыма. Невозможно дышать.

— Где фонарик, запали, — голос Полины.

Франц нащупал на ящике круглую рукоятку фонарика, зажег свет и окончательно вернулся, вырвался из сна.

— Тебе легче? — спросила Полина н объяснила, в голосе снисходительная усмешка. — Ты заснул.

— Да! Сон такой

— А там затихает, слышишь? Ты наклонись к долу, там меньше дыма.

По часам Франца (Полина взяла его руку, чтобы посмотреть) уже полдень.

Целая вечность прошла, что-то в этом мире кончилось навсегда, а они трое все еще живы. Дым больше не валит из щелей, но все равно сухим туманом стоит перед глазами, он в груди, в легких, кажется, что и голову, и сердце — все, все заполнил. Полина не

выдержала, начала снимать щит со стороны, как она сказала, баньки. Франц бросился помогать ей. Про себя подумал: «Wie ein Unterseeboot!»[6] Полина не говорит, чтобы их не напугать, но сама замирает от мысли: а удастся ли выбраться, вдруг оба выхода-и через баньку, и через хату — завалило так, что не выдерешься? Францу не разрешила ползти за собой (нечем будет дышать двоим в норе!), подбирая юбку, подсаживаемая Францем (все-таки поправила его руки, когда взял ее вроде бы не так) втиснулась в нору и пропала, Францу и старухе показалось, надолго, нестерпимо долго ее не было. Вначале доносился осторожный кашель, а потом и его не стало слышно. Франц бессмысленно пытался лучом фонарика высветить задымленную дыру, уже и батарейки садиться стали, свет тусклый. Наконец-то появилась, и опять раньше ноги, ботинки, белые икры ног. Франц — от беды подальше! — отвел свет в сторону. Принял на руки ее легкое утомленное тело, помог стать на ноги. Что, что там?

— Еще огонь там, жар. Надо подождать.

Выбрались только заполночь. Все равно их встретил недотлевший жар. Франц на этот раз пополз первым и получил ожогов больше. Ему пришлось разгребать выход. Прожег мундир на локтях, штаны на коленях. Щемит кожа на запястьях, щека, шея горят от ожога, сколько ни облизывай их, ни смачивай слюной. Но все-таки он поднял, откинул крышку (угли так и посыпались на него), проделал выход, затаптывая и расшвыривая красные угли, помог выбраться наверх женщинам. Уже ночь, но вся раскаленная, куда ни глянь, видны за стволами и сквозь сучья садовых деревьев все еще огненно тлеющие, раздуваемые ветром пепелища. От дома Кучерихи осталась одна печка, снизу красная, подсвеченная жаром, выше белее, а еще выше — как темный обелиск, уходящий в черное небо. Поражала тишина: где-то выла собака, вторила еще одна, но это не нарушало мертвой, какой-то запредельной тишины.

Людей, переживших смерть своей деревни-думаю, и те, кто заживо горели в Дрездене, могли бы засвидетельствовать, — оглушала мысль: везде так! На всей земле! В этуминуту убивают всех!..

Завыла Кучериха во весь голос, уже не опасаясь убийц, карателей. Будто и их тоже не осталось! Бросилась к своему дому, обежала вокруг пожарища раз, второй, как бы пытаясь добраться, дотянуться до сиротливо белеющей печки, припасть, обнять. Полина почему-то отошла от Франца, он машинально двинулся следом, она

---

[6] «Как подводная лодка» (нем.).

еще дальше, под деревья отступила. И когда он снова захотел приблизиться, вдруг закричала не своим голосом:

— Что ты все облизываешь свои руки? Что, болит? А им не больно было? Деткам! Живым в этом огне!

И зарыдала, закинув голову, схватись руками за ствол дерева. — Фашист! — сквозь рыдания. — Ненавижу! Все вы фашисты!

Франц отошел в сторонку и сел на какой-то столбик. Положил на колени свою плоскую сумку. Там у него бритвенные принадлежности, мыло и еще — черная круглая граната с голубенькой головкой. Жить ему не хотелось.

5

Было бы безопаснее уйти в чащу леса, куда-нибудь на болото, но что-то удерживало их в деревне, которой уже не было. Днем обошли село- от пожарища к пожарищу. Кучериха время от времени принималась звать, окликать хозяев:

— Хведорка! Прузына! А где ж вы, чаму не выйдете до нас, чаму не позовете нас в гости? Или мы провинилися перед вами? А моя ж ты Ганночка, а ты ж всегда поздороваешься, спросишь про деток, про все расспросишь. Что ж ты молчишь, не чувать тебя?..

Полина и Франц шли впереди, но тоже не вместе, каждый сам по себелучше бы Франц вообще не ходил с ними. Но он не отставал.

Уже несколько раз дождь принимался остужать неостывающую землю, черные пепелища, но все еще колыхались голубые дымки то в одном, то в другом месте — будто чья-то задержавшаяся душа.

Жгли костер: надо было есть, кипятили воду. Через лаз на месте сгоревшей бани вытащили какие-то сухари, старое пожелтевшее сало, желтое вязьмо репчатого лука, картошку — то, что припасено было на такой, видимо, случай. Жили, как бы кого-то и чего-то дожидаясь. Лишь несколько суток минуло с той ночи, как выбрались наружу, а казалось, что прошло Бог знает сколько времени. Вот так сидели у огонька, накрытые черным с редкими звездами небом, как вдруг Франц, оглянувшись, будто позвали его, вскочил на ноги. Следом за ним-Полина со старухой. Кто, что?! А на них, уставившись из ночи, смотрят глаза, множество горящих глаз! Со всех сторон. Кучерихе показалось — души людские, она стала креститься, но тут же всех успокоила:

— Коты, это коты.

Со всей деревни собрались — на запах пищи, на живое

присутствие людей.

Франц тесаком нарубил, заготовил еловые ветки, наломал березовых сучьев, уже пахнущих весной, соком — на чем спать. У Полины и старухи общее ложе под широкой яблоней. У Франца — свое, особняком. Но какой там сон, холодно по ночам, и вообще не спится. Старуха собрала вблизи какие-то обгоревшие, противно пахнущие половики, рядно. Чтобы было чем накрыться.

А утром Полина вдруг услышала: птицы поют! И все эти дни, наверное, звучали их голоса.

— А где мы его спрячем? — спросила Кучериха, которая тоже не спала.

— Пусть уходит, откуда пришел. Что ему здесь делать?

— Кто ж его, доченька, примет? Не ихний и не наш. Придут партизанытоже неизвестно, как на него посмотрят.

— Я и говорю. Появятся герои! Когда одни угольки от людей остались. Как же, немца в плен захватили!

— Живой ли Павлик, батька? О, Боже святы!

Над шепотом людей — птичий разгай. Их дом — сады, подлесок березовыйцел. Сообщают, что они есть, живут, целому свету, не опасаясь. Пи-икают пеночки, по-стрекозьи свирчат шпаки (скворцы), на лесной опушке впервые в этом году попробовала свой голос кукушка, Полина только начала считать — та счет оборвала.

Полина посмотрела в ту сторону, где под старой потрескавшейся грушей спит немец: поджал чуть не до подбородка колени, накрылся грязным половиком как у мамки в гостях. Кто теперь более одинок в этом мире, чем он. Полину тяготит, мучает, как обреченно Франц ходит за нею, как смотрит, но с собой ничего поделать она не может: когда вышли наверх и увидела опустевшую деревню, будто в ней что замкнулось. Не может его ни видеть, ни слышать.

А' тут что-то в ней дрогнуло: затеплилась жалость к этому, страшно сказать, немцу. Тут же решила: надо его переодеть, выбросить, спрятать всю лошадиную сбрую, что на нем, этот ненавистный мундир. В хованке, там в ящиках, спрятаны отцовские и брата старые одежки, белье. Хотя трудно будет подобрать под эту каланчу, к нелепо длинным рукам и ногам, что-нибудь подходящее.

Переодевание совершено было тут же, еще картошку Кучериха не успела сварить. Штаны и пиджак, когда-то купленные в сельпо, давно потеряли фабричный цвет, ну, а рубаха, белье-вообще самотканые. И свитка поверх всего-тоже из рудого самодельного сунна. На ноги Полина не нашла ничего. Пусть остаются на нем немецкие сапоги, их теперь и партизаны носят. Зато белье было

новенькое, из домашнего полотна. Да, жестковатое, не так его отбеливали прежде, до войны, зато ненадеванное.

Франц удалился в еще безлистный кустарник и там переодевается. Время от времени радостно показывает, что он снял с себя и что надевает. Показал ремень со всей солдатской оснасткой, дисками автоматными, с круглой коробкой противогаза. Полина машет рукой: брось и это! Если своей жизни жалко, этого не жалей.

Вернулся из кустов совсем другой Франц. Хоть ты с ним на петухов-скую вечеринку отправляйся. Нет, конечно, не на вечеринку в таком рванье, скорее на колхозное собрание или на скотный двор. Но это то, что надо-опять-таки, если жить хочешь. Немец честно показал: круглую гранату он себе оставляет. Поднес к улыбающемуся лицу и продемонстрировал, как отвернет голубую головку гранаты, как потянет за нее и… Рукой, пальцами смял свое лицо, как помидор. И пояснил:

— Blutiges Fleisch.[7] Никто не узнает немца Франца. Что его фатер и мутти живут в Дрездене.

— Полина видит, что на руке у него блестят, бросаясь в глаза, «не наши» часы, но не выбрасывать же и их? Будет носить в кармане. Он уже чего-то напихал туда.

— Хорошо, что ты по-нашему понимаешь, но говоришь-ну, просто горячая картошка во рту. Сделаем так: ты будешь немой, а говорить буду я!

6

— Пойду схожу к Пархимчикам. Или:

— Проведаю бабку Капустиху.

И уходит. К соседям, чуть не на весь день. Это она наведывается к покойникам. Полину пугает, с каким спокойствием, как серьезно звучат ее: «схожу», «проведаю». Не дай Бог-тронется умом.

Очень постарела за эти дни. Посторонние называли ее старухой давно, еще когда Полина девочкой была. Не соглашалась:

— Неправда! Моя мама самая молодая!

Полину родила, когда ей уже пятьдесят было, Павлика — на год с половиной ранее. А до этого все не было в семье детей. Вот и получилось: малые дети, а мать-«бабушка». Но в деревне на это мало внимания обращают, старух могут называть-«девки», молодиц-

[7] «Кровавое мясо» (нем.).

«бабки»: хоть горшком обзывай, только в печь не сажай!

Полина проследила, куда и по какому делу мать уходит с утра. Ничего, только собирает на пожарищах косточки, черепа сгоревших и складьь вает возле печки. Как возле памятника. Прочитав молитву, переходит в следующий двор. И так целый день. Полина стала приносить ей поесть, попить. Молча примет черными от сажи руками, отрешенно, с пустыми глазами, поест, на вопросы не отвечает. Полина тоже замолкнет, посидят рядышком, и Полина уходит. Тererь идет к Францу. Он. обычно сидит у костра, хорошо, если занятие есть — следить, испеклась ли картошка, а то не знает, куда себя девать, все время ищет глазами Полину.

Полина и Франц теперь ночевать уходят в лес, хотя и недалеко. Чтобы, если что, они первые* а- не их, заметили. Кроме них троих в деревне в живых остались еще несколько курей, кошки, собаки. Сумерки уже не пахнут коровьим калом. Но у живых, у каждого свое занятие, свои заботы. Полина обнаружила, что собаки, которые не убежали в лес (встретишь и пугаешься: волк!), тоже разыскивают куриные яйца, жрут их вместе со скорлупой. А она сама взялась яйца собирать, чтобы «кормить семью» — мать, Франца. Смешно вспоминать, но дед Пархимчик так объяснял ненависть немцев к евреям: и те, и другие любят яйца, для всех не хватает. Как теперь у Полины с собаками.

Так прожили неделю, вторую. Дни не занятые, долгие. Бродили по лесу, белому от берез, заполненному весенним солнцем и птичьими голосами, не сидеть же hа месте. В одно теплое майское утро случилось чудо. Или как это назвать? Жизнь такая, что все время вслушиваешься. Ждешь звуков угрожающих. А тут — какой-то шорох, крадущийся, как от бегущего по листьям мелкого дождя. Но на небе ни хмуринки, и на деревьях листьев все еще нет. Тут Полина ахнула: это же почки, листья березовые распускаются! Миллиарды одновременно, одномоментные электрические за-рядики взрываются! Затеребила Франца: слышишь?! Слышишь?! Он глянул на счастливую Полину, посмотрел вверх и — молодец! — сразу понял, о чем это она.

— Wie bei einem Kommando! — и сам перевел: — Как по команде!

Самое удивительное: начинает казаться, что не только над головой взрывающиеся почки — березовые бомбочки, — но и далекие-далекие слышишь, звук сливается в общий электрический шорох.

И тут Полина и Франц нырнули на землю: как будто тела их пронзил визг настоящей бомбы. Как стояли, так и упали, схватившись за руки, потащив друг друга к земле: увидели среди деревьев людей, движение среди неподвижно-белых берез. Зеленые мундиры —

немцы! Франц панически зашарил рукой в кармане, яростно пытается оторваться от Полины, откатиться в сторону: это он гранату вытаскивает-Полина увидела черное яйцо и еще цепче впилась пальцами в его рукав! Брось, брось, выбрось!

Неужто и впрямь есть что-то страшнее смерти? Да сколько угодно- в этой жизни, не один человек в этом убеждался. Вот и Франц решил: «кровавый бифштекс», но только чтобы не получили его живьем, не признали в нем «своего», немца! Смог бы он или не смог-не помешай ему Полина, — кто знает. Но что он больше, чем смерти пугаются, своих испугался- это было. Такое происходит с людьми.

С некоторых пор меня занимает вопрос: что было в фюрерах XX века, намертво Парализовывавшее волю других людей? Или, может быть, это находилось, содержалось не столько в фюрерах, «во?кдях», сколько в окружавших их людях? Какое такое вещество в переизбытке присутствовало, выделялось организмами XX века?

Сцена. «При нас» это происходило, но понять до конца это невозможно даже современникам, не говоря уже об идущих нам на смену.

За столом сидят солидные люди и не просто, а те, кого называют «людьми науки», «людьми искусства», у них деловое совещание. Не сидит, а ходит лишь один человек, ходит за спинами у сидящих, раскуривает вонючую трубку, попыхивает. В какой-то момент, когда главные вопросы «решили», этот, прохаживающийся, произносит за спинами:

— А сейчас мы должны рассмотреть вопрос о враждебной деятельности товарища Н. в области театрального дела.

Представим себе, что не всего лишь слова прозвучали, а близкая, «на поражение», автоматная очередь — как цовели бы себя все эти люди? И тот, с трубкой. Наверное, оказались бы под столом. Страх смерти их сбросил бы туда, на пол. Но чтобы вскинуть на стол, чтобы человек, солидный, почти министр, вскочил на стол и петухом закукарекал (а именно это произошло в реальности) — тут страха смерти мало. Нужно еще, чтобы волю свою ты (сам) кому-то передал. Как говорят, делегировал — челозе-коупырю. Высасывателю чужих воль.

Корчившийся на земле в попытке спрятаться в смерть Франц был один из таких — из обезволенных упырями. Ну, а по нашу сторону — много было с невысосанной волей? И как нелегко, непросто ее себе возвращали — и тогда, в войну, и много лет, да нет, десятилетий спустя.

— Не немцы, не немцы это! — кричала Францу Полина, а он словно оглох, все вырывается, прячет под себя гранату.

Наконец, кажется, сам разглядел: к ним приближаются люди, хотя и с оружием, но в обычной цивильной одежде, какая и на нем, и только один из них во всем немецком. В две руки, Франц и Полина, сунули черное яйцо смерти под прошлогодние листья и отскочили в сторону. Этого не могли не заметить подходившие. Тот, что во всем зеленом, прежде чем приблизиться к ним, завернул к тому месту, где оставили гранату. Ковырнул ботинком, нагнулся и поднял. Громко хмыкнул. Когда наклонился, повернулся спиной, на его немецкой пилотке Полина разглядела красную звездочку-сзади, он зачем-то ее надел задом наперед. У двух других красные ленточки-на зимних шапках. На одном кожушок, на втором свитка, не лучше, чем Францева. У «немца» ворошиловские усики. (Франц тоже отметил: как у фюрера!) Полина держит руку у рта как бы от испуга, но это для Франца: подсказывает ему, напоминает, что он немой. Пастух колхозный, дурачок. О, Господи, часы! Их-то забыли снять с руки, спрятать: тоненькие, «не наши», сразу заметно. А еще сапоги немецкие! «Немец» присматривается к Францу каким-то охотничьим взглядом.

— Немэй он, это мой брат, — тут же затараторила Полина, сама отметив, каким вдруг крикливо бабьим сделался ее голос.

Сощуренные глаза «немца» с усиками (он самый низкорослый из всех) не отпускают Франца, и тот, бедный, стоит перед ним, как перед начальником.

— Откуда такие? — показал на часы. — Трофейные? Сапоги тоже? И все время подбрасывает на руке Францеву гранату.

— Брат, говоришь? — повернулся к Полине и вдруг-к Францу: — Как тебя звали, когда умел разговаривать? Имя как твое? Что на нее смотришь, я тебя спрашиваю? Покажи часы. Замаскировались, только бы дома отсидеться. На тебя можно плиту минометную взвалить. Станкач неразобранный.

В одной руке у «немца» Францева граната, во второй уже и часы. Теперь он оценивающе смотрит на сапоги.

— Трофейные, придется сдать.

Лицо дурашливо-строгое — большой, видно, мастер по трофеям. Его сотоварищи смотрят на него тоже с интересом. Ткнув пальцем в самого пожилого, приказал Францу:

— Вот с ним поменяйся.

Ох, и сказала бы ему Полина, когда бы не боялась, что разгадают, кто такой Франц. Пусть забирают все и пусть только

уходят.

— Ну что ты, как петух перед курицей, топчешься? — влетело и пожилому партизану от «Ворошилова». — Снимай и меняйся. Видишь, парень решил помочь народным мстителям! Раз сам не воюет, пусть помо- жет.

Рассматривает Францевы часы уже на своем запястье:

— Вот тут не по-нашему написано.

Наконец поинтересовался:

— Вы из какой деревни?

— Из Петухов.

— Так вас же спалили.

— Это мы знаем.

Все-таки смутился.

— Вы не обижайтесь. Мы не знали, что вы петуховские.

Но почему-то не вернул «трофеи».

7

День начался как обычно. Проснулись в утреннем сумраке густого леса под еловым шатром-балдахином. По одну сторону толстенной елины с подтеками смолы лежала Полина, укрывшись старенькой с проплешинами плюшевой жакеткой, по другую, натянув до подбородка деревенскую шерстяную свитку-Франц. Мрачное дерево между ними как строгий страж. Нарушителей не было: попробовал бы этот немец еще раз, как тогда! До сих пор на щеках, на лбу у него метинки от когтей Полины. Весело жалу — А что. с ними делать? — глухо произнес Лазарчук. — Ясно что.

— Он же нас от лютой смерти... — взмолилась Кучериха.

— Дайте, мати, за зло расквитаться. А уже потом остальное, — прервал ее Лазарчук.

Вмешался Павел:

— Мы вас, мама, с Полиной заберем в отряд, когда назад поедем. Что вам тут теперь оставаться? Через пару дней. А то еще каратели вернутся. У нас тут в яме белье есть, хлопцам, да и мне- переодеться. Завшивели.

— А як жа! И сало, сухари. Вот Полина, слазь, доченька.

А некоторое время спустя брат незаметно отвел Полину в сторонку.

— Так, говоришь, увели?

— А вы бы что с ним? А, Павлик?

— Не знаю, как в отряде. Вон у Лазарчука всю семью выбили,

никого не оставили.

Посмотрел прямо в глаза сестре таким знакомым взглядом старшего на младшую, любимицу в семье.

— Ох, и политики вы с мамой! Если недалеко увели его, пусть он уходит. Раз вы говорите, что он такой,

— Так он убил немца, ему нельзя возвращаться!

— Ну, не знаю.

8

Вдали над лесом, а часто и прямо над сгоревшей деревней пролетают самолеты. Франц, прислонясь к дереву, с мальчишеской осведомленностью обязательно сообщит марку: «мессершмитт», «фокке-вульф». Полина в такие моменты ревниво замечает, как взгляд его. на время куда-то удаляется, затуманиваясь. Это его Германия летает. А сам он от нее прячется и больше всего боится, что она его отыщет. Мать тоже все чаще уходит в свою даль, все меньше у нее разговоров с живыми, она вся-с покойниками.

— Во сне приходят: «Что ж ты нас, Кучериха, наши белые кости земелькой не присыплешь?» Надо им, детки, могилки выкопать.

Теперь Полина с Францем ходят по ее следам, зарывают то, что она собрала на пожарищах. С лопатой, с кошем (корзиной) переходят со двора во двор. Франц на огороде роет небольшую, но поглубже етму («Чтобы, детки, не откопали их волки, собаки не растаскивали»), Полина, собрав в кош то, что осталось от семейки, несет к яме — зарывают. Перед этим могилку выстилают зацветающими ветками с хозяйской грушки или вишень-ки, присыпав, Франц специальным валиком из круглого поленца выдавливает на влажном песке крест. Молча перекрестится, и Полина тоже. Неправдой было бы сказать, что она прежде никогда этого не делала. Это ее тайна, сладкая и стыдная. И не набожность в ней тогда просыпалась, а, пожалуй, что-то совсем другое. Сначала она проделывала это в гумне, на току, сладко пахнущем нагретыми снопами, сеном. Воровски забиралась туда, становилась голыми коленями на каменнотвердую глину, начинала истово креститься и класть. поклоны. Перед этим торопливо и грубо мазала губы помадой, подаренной ей дочерью лесничего Эвирой, волнующий запах нетеперешней, ожидающей ее женской жизни добавлял стыда и запретное™. Войдут и увидят, и что ты будешь объяснять? Стала это проделывать в избе, перед маминой иконой, и именно когда кто-то поблизости был: на кухне или за окном разговаривают мать с соседкой или с отцом — вот-вот войдут! Даже в

школе рисковала это делать, когда все выбегут на перемену (у той же Эвиры специально для этого выпросила маленькую овальную иконку) — вот где чувство стыда и запрета было самое острое. Вбегут, увцдят-после этого жить станет невозможно. Только умереть!

Вспоминала она теперь об этом? Куда от памяти спрячешься? Но теперь даже смерть не очень волновала, больше пугала-грубой простотой и окончательностью. Эти полуистлевшие кости недавно живших знакомых ей баб, мужчин, детские, они лишали тебя всякой надежды. Кладя крест следом за Францем, но справа налево, как мама крестится, как эти когда-то крестились (кто постарше был и чьи кости перед глазами), Полина только отгораживала себя от ушедших, приближения не свершалось. Хотя даже у Франца, чужого здесь, она видела, было по-другому.

— У вас в школе... молились? — спросил вдруг Франц, медленно подбирая слова.

— Нет, конечно! — Полина почему-то покраснела.

— И у нас тоже: конечно! Но отец и особенно муттер — очень верующие. Фюрера они только боятся. У вас мало церквей, где у вас венчались, или как это?

— В сельсовете.

— Это... а, муниципалитет! Вокруг пня? Древние германцы так делали. Или это историческая шутка, не знаю.

Однажды ранним утром Полина увидела, что Франц ходит по пепелищу ее дома, внимательно рассматривает у себя под ногами, что-то ищет. Видно, кости Отто хочет и боится увидеть.

Кучериха «с работы» обычно уходила, не объявляя об этом Полине, Францу: исчезала, и все, приходили в свой двор, а она уже там, варит им ужин или спит, завернувшись в колхозную свою телогрейку.

На этот раз почему-то попрощалась. Подошла:

— Ну, я там собрала, и там, и там. Я пошла — похороните.

Полину потом мучила память, догадка; она сказала «я пошла — похороните!» Знала, что сейчас ляжет и умрет? Когда они с Францем вернулись «домой», Полину поразило, как по-детски спит ее мать. Рваные свои солдатские ботинки аккуратно поставила в головах (отец всегда смеялся над Павлом, когда он так делал по крестьянской привычке), руку положила под щеку, босые ноги, поджав, спрятала в длинной юбке. Разговаривали вполголоса: пусть поспит. Приготовили ужин, стали будить, а она...

Полина не кричала, тихо и безнадежно текли слезы, все делал, что надо, Франц. В этой деревне столько смертей, что закричать (а

так хотелось!) было страшно.

На мертвом лице снова появилась, как бы проявленная смертью, мамина улыбка. Только тут сообразила Полина, чего не хватало все последние дни, недели. Ведь всю жизнь, сколько Полина себя помнит, рядом было немолодое лицо с неизменной доброй улыбкой, ласковыми чертами, так сочетающимися с певучим «маминым» голосом. «Алтайский голосок у нашей мамы, знаете, какое в горах эхо!» — любовно говорил отец. И еще: «Мама наша в детстве подмазку съела, всегда улыбается, правда, дети?» Он привез маму с Беломорканала, из ссылки, потому что она-«из кулаков». Прямые слова про это отца когда-то пугали Полину, требовали других, а не тех, что у нее, к матери, чувств. Они стихов, поэм столько заучивали про Павлика Морозова. Свой же Павлик, казалось, не переживал, даже когда отец, выпив (редко, но бывало) обзывал себя с вызовом: «вредитель», «враг народа». Мама его тогда старалась увести от детей, уложить спать. Как с этим было справиться детской душе, зыбкому сознанию? Павел справлялся легко. А может, и не так, просто характер у него мужской. («Кремень наш Павел», — говорил отец полушутя-полусерьезно.) Полина же не раз по ночам, плача, переписывала маме и отцу биографии. В ее фантазиях родители были те же самые, с маминой постоянной улыбкой, отцовской резкой горячностью, но на Беломорканал они ездили по комсомольским путевкам и вообще все, как в книгах и в кино.

На огороде возле старой груши Франц копал могилу Кучерихе. Прикидывал, из чего сделает гроб. Ни досок аккуратных нет, ни инструмента. Копал и в мыслях обходил двор за двором, всю деревню, припоминая, что и где видел. Пошел искать доски, а когда принес нужное (даже сломанная пила ему попалась, полуобгоревший топор), увидел, что Полина уже побывала в хованке-погребе и достала серый валик домотканого полотна. Молча, каждый свое, делали. Франц только следил все время, не надо ли помочь. Принес из колодца воды, когда Полина, подойдя к яме, постояла, как бы что-то забыв и припоминая:

— Я сама обмою, хоть немного.

Отец, может, и не одобрит, что не на кладбище, а прямо на огороде будет похоронена. Но и соседи так — каждый в своем саду. Все село теперь кладбище. Дом они сами строили, отец с матерью. Вот так вместе работали, как Франц с Полиной, но совсем-совсем другую работу делали. Поли не, знающей, легко представить, как радовались друг другу и тому, что делают. Особенно после этого Беломорканала. Дом поставили, родили Павла, тут же вскоре-Полину, работали в

колхозе, отец счетоводом, мама — «куда пошлют», дети семилетку кончали, и тут снова забрали отца. Перед самой войной. В школу хоть ты не ходи, но Павел не отступал, тащилась следом за ним и Полина, а там директриса-историчка объясняла детям: в таком-то выступлении товарища Сталина то-то и то-то, все, что он когда-либо сказал, — верно навсегда. Вот и про счетоводов. Врагов надо уметь распознавать под любой личиной, маской: кулак не обязательно с берданкой или обрезом под полой. Он может из бухгалтерских костяшек выстрелить. Как сказал товарищ Сталин? Сидит себе такой в колхозной конторе и щелк-щелк, как из-за угла. Нащелкал, и пожалуйста: коровы от бескормицы дохнут, свиньи и куры от чумы, зерно мокнет, гниет, на трудодни — граммы.

Деревянные «счеты» отца с желтыми костяшками почему-то не забрали, когда был обыск, они дождались его возвращения из тюрьмы. Уже когда война началась. Проснулась ночью Полина от испуганно-счастливого крика матери:

— Дети! Дети!

Потом все дружно грели воду, помогали отцу мыться, как младенца, поставили его в «балею»-огромную низкую бадью-и поливали водой, намыливали, терли мочалкой. А он совсем не стыдился своей наготы, неправдоподобно худой, одни кости. Шепелявить стал, зубов передних нет. Мать со страхом спрашивала:

— Что у тебя со спиной? На всем теле-что это за шрамы?

Вначале отец ничего не рассказывал. Что там было, как он освободился. Война шла, из лесу стали наведываться «окруженцы», скоро это слово вытеснено было другим: «партизаны». У отца какие-то дела с ними начались, сразу же. Куда-то их водил, пропадая на ночь, а то и на несколько суток. Однажды заговорил:

— Послушайте и забудьте. Неизвестно, что еще нас ждет в жизни. Но хочу, чтобы вы знали все.

Про то, как в минской тюрьме били, выбивали зубы и «признания» во вредительстве, потом какого-то «письменника» приплели, наверно, он им был нужен больше, чем сам Кучера. Расскажи, как приезжал читать стихи, а сам вербовал для польской дефинзивы, охранки! Про то, как этот «нацдем» подбирал людей для связи с заграницей. А тут-война, Минск] стали бомбить, тюрьма сотрясаласьtот грохота взрывов. По Московскому] шоссе убегали горожане, следом уводили «врагов», несколько длинных ко-] лонн, у охраны красные петлицы, такие же околыши фуражек, винтовки сі длинными русскими штыками. И эти штыки стерегут тебя, родину от тебя! оберегают. А немец лупит сверху, и ты уже вроде с ним против

своих.! Пробовали уговаривать конвой: отведите нас в военкомат, сдайте в армию, I воевать с немцем хотим. Заткнись, вражина! Но вот выстроили арестованных в шеренгу, сами напротив с винтовками, пулеметы на земле: какой-то! приказ зачитывать будут. Майор-энкаведист держит в руке бумажку, дождался, когда всех подровняли, все подготовились и, глядя в бумагу свою: «Огонь!» А тут как раз налетели самолеты.

— Я лежу среди картофельного поля, скошу глаза — кресты над го- ловой ревут и оттуда строчат. Кто еще живой, бежать пытается, по тем-энкаведешники. А один, вижу, подбежал, штыком на соседа замахивается, как я ногами дал ему промеж ног, аж взвыл. Подскочили мы-и бежать,] а в стороне вижу: энкаведешник стал над женщиной, на обе руки ногами,] да ка-ак штыком ей в грудь или живот! Со всего маху-женщину!..

Решили уйти из деревни — со смертью Кучерихи, казалось, она умерла окончательно-и поселиться в лесу, куда не добрались бы ни немцы с полицаями, ни партизаны. А как отыскать такое местечко? Догоняя, пре- следуя друг друга, убегая и прячась друг от друга, безопасных мест на этой земле не оставили.

Но повезло. В густом непросматриваемом ельнике (правда, просека! близко) набрели на заброшенную землянку. Судя по тому, как проросли^ покрылись грибами и чагой бревна и бревнышки, а жестяная бочка-«буржуйка» окрасилась в охру ржавчины, тут давно никто не жил. Может быть, с осени — зимы 41-го, когда окружепцы-партизаны таились по лесам, выходили лишь добывать пропитание. Иногда обстреливали немецкие машины.

Убрали с нар сгнивший хворост, выстелили ложе свежим ельником и березой. Франц топором, который с собой прихватили, нарубил сухих дров — приготовились жить долго. По лесу расползся дымок, а с ним и тревога: не унюхал бы кто. Пока высушивались их палаты, сидели под деревьями. Франц сказал:

— Хорошая человек твоя мутти. Показать мою?

Запустил руку под рубаху, на ладони у него заблестел медальон. Как это не углядел тот, «трофейщик»? Шнурок замаслился, грязный, а золото блестит, как живое. Подковырнул ногтем, и открылась фотография. Полина приблизила свое лицо, на нее смотрит строгая чужая женщина с аккуратно выложенной прической. Франц вытряхнул себе на ладонь фотографию, перевернул ее.

— Тут написано: «Ich werde dich Schutzen». Я тебя (как это? ага) защищу. Всем им так кажется.

Франц долго и нескладно объяснял, что носить это рискованно, а замазать немецкую надпись будет нехорошо, и потому просит Полину забрать и хранить, пока ему снова можно будет…

Полина не знала, как тут ей поступить. Вроде она присваивает право, не спросясь у той женщины, держать на груди ее фотографию. Как-то неловко перед нею, далеко живущей. Потерла блестящее золото меж ладоней, заодно и шнурок и опустила холодное сердечко под рубаху. Невольно поежилась: почему-то вспомнилась Эвирина круглая иконка…

Автоматная очередь! — Франц настороженно поднял голову. Далековато, но почему разрывные пули ее повторили совсем рядом, в кустах за землянкой?

— Это же соловей! — рассмеялась Полина. — Как будет по-немецки?

— Nachtigall. Никому только не рассказывай, что Франц уже… Покрутил пальцем у виска.

— Нет, правда, похоже, — успокоила Полина, когда они улеглись на нарах, во, ну совсем, как пулемет. А теперь полощет горлышко. И до войны пели соловьи, но никому в голову не приходило такое.

— Многое не приходило, — согласился Франц. — А в вашей школе… И пошли разбирать стенку незнания — и того, и другого, и третьего.

Как у вас? А у вас как? Обнаружилось, что многое очень похоже: девушки больше понимают в парнях, чем те в них, — что в немецком Дрездене, что в белорусских Петухах. И так же одинаково живут в вечном противостоянии женской части школы и мужской, но предателей своего племени больше среди девочек. Вот была в десятом классе Клавка, девка никакая из себя, у нее и парня не было своего на выпускном вечере, так старшеклассники потом рассказывали: она столько пар разбила, развела за один тот вечер! Даже у которых дело к свадьбе уже шло. И чем взяла, ты подумай! Те, невесты, выдерживали своих парней на расстоянии: поцелуй еще можно, а больше — ни-ни! — это чтобы удержать их до свадьбы. Вам же только уступи и — адью! Эта нахалка всем дала урок: танцевала с парнями со всеми подряд, и все ее наперебой приглашали — прижималась, бесстыжая, смотрела так, что каждый поверил: сегодня он все и получит, если с нею уйдет. Ну, как опоила зельем! И оставила в дураках. У невест после этого вечера раздрызг с женихами, у некоторых навсегда — отомстила за все десять лет невнимания.

Полина задала тон, Франц так же осуждающе заговорил о легких прямо-таки свинских нравах среди парней, увлеклись, аж дыхание

сделалось горячим и у нее, и у него, казалось, теперь-то уж не смогут сдержать себя, сблизятся руки, губы, но что вы, как теперь это возможно?! О чем только что говорили?., как осуждали! как негодовали! Смущенно замолкли Полина с Францем, почувствовав себя обманутыми кем-то: наиздевался и смотрит на них со стороны, чтобы громко расхохотаться при первом их прикосновении. Разочарованно полежали и уснули каждый на своем месте-приблизительно в метре друг от друга. Но девушка все-таки сказала «на прощание»:

— На новом месте приснись жених невесте.

Однако сказано было столь иронично, что Франц так и не решился протянуть в ее сторону руку. Помнит, бедняжка, коготки!

Прежде чем уснуть, Полина много навспоминать успела. Виру вспомнила. Вот она бы знала, как распорядиться и собой, и Францем.

Шила эта семья, по представлениям петуховцев, «как помещики». А имя Вира — от Эвиры, что означает: Эпоха Войн и Революций. Имя ей такое дала мать, та самая директриса-историчка.

Отец Виры (пока и этих не пересажали) работал лесничим, хозяйство его было чуть не в полрайона, десятки лесников в его распоряжении, и лес с грибами-ягодами, и трава на полянах, и дрова. Все, чем в лесном крае люд жив. Обширное лесничество располагалось особняком от деревни, за высоким дощатым забором, где стояла просторная контора, раздольный дом лесничего, высокие, из крепкого дерева, теса хозяйственные постройки. В лесничестве было несколько лошадей, хороший выезд. Все не как в рваном-гнилом колхозе: что сбруя, что возок-кошевка, лошади — загляденье! Даже свой пруд был за тем высоким забором, а зимой-каток для Виры и ее друзей. Но в друзьях у нее ходили не многие. Это еще надо было заслужить. И прежде всего -1 непохожим на общее поведением, смелостью знать то, чего другие знать боятся... Сама она была и умница, и красавица. Читала много, но главное — обо всем было у нее свое суждение. И действительно, ничего не боялась, — так казалось Полине. Аж голова кружилась рядом с ней. «Я сама себе книга», — любила повторять. И сообщала, что подумалось, что почувствовалось — почему? отчего так? — в таких-то и таких обстоятельствах. Однажды отец-усатый, черногривый красавец-ее просто высек. «Из любопытства», как сама говорила, подожгла копну сена прямо во дворе. Так вот: «Он меня плеткой, плеткой, так напугался пожара, а я в эти минуты любила его больше, чем когда-либо. До слез».

С Полиной они, забравшись на сеновал, под ласточкино цвиканье, читали, делились секретами, спали, грезили, как устроится

их жизнь. Однажды Полину предупредила:

— Я позвала Костю и Бублика. Выбирай, кого ты хочешь.

— Зачем они мне?

— Что, трусишь? Мы же договорились.

— Ну, это мы так.

— Так или не так, а я их пригласила. Сказала: приходите с интересными книжками.

Они и пришли с книжками. Бублик, тот дурачок-дурачком, а школьный красавец Костик (скорее по испуганно-скованному поведению Полины, чем вызывающему-Виры) понял, что все неспроста. Дурачились, копошились в сене, все более распаляясь и позволяя себе все больше. Пока Полина не разозлилась и не убежала к окошку, оттолкнув Бублика. Тот виновато поволокся следом. А Вира с Костиком как-то непонятно и страшно затихли. Глянула Полина в полумрак сеновала и увидела голое, высоко поднятое колено Виры и бессмысленное какое-то качание спины в голубой майке, спина эта показалась такой мужской, отвратительной. Растерявшийся Бублик смотрел на Полийу, она удерживала его взгляд бессмысленной усмешкой, только бы он не обернулся, не посмотрел туда. (Но оба слышат: смотрят друг на друга и слушают.)

С этого дня Вира возненавидела Полину. А однажды на зимнем катке, когда Костя, ходивший теперь за ней, как голодный пес, помогал ей привязывать конек, Вира с внезапно исказившимся от. отвращения и ненависти лицом изо всей силы ударила его прямо под бороду, так что он отвалился на снег.

Когда Вириного отца тоже арестовали, (после ветеринаров взялись за лесников), семью выгнали из-за дощатого забора, и они с матерью куда-то уехали, как сгинули.

Утром Полина и Франц проснулись, почему-то недовольные собой и Друг другом. Но скоро это прошло, им действительно интересно быть вместе. И вот так — вдвоем. Вот, пожалуйста, жили каждый далеко от другого и совсем вроде иначе, но столько общего у них. Эта простенькая мысль почему-то волновала.

— Скоро у тебя ковтун будет! — взлохматив волосы Франца, сказала Полина.

Он только что помыл их в заросшей ольшаником и осокой речке, и они лежали на траве, возле развалившегося мостика, отдыхали. Франц в нелепом, коротком ему белье- из сурового полотна, немало помучившем его бедное городское тело, но уже размягченном ноской и частым окунанием в воду, почему-то не стесняется Полины-как не

стеснялся бы, видимо, одеяния клоуна. Ну, а Полине просто весело на него, такого, смотреть.

— Ты сказала: ковтун? — видно, что Франц что-то припомнить старается.

Рядышком на траве блестят змейками извивающиеся вьюны, выловленные в болотистой затоке, где вода потеплее, Полина с детской бессознательной жестокостью прихлопывает их ладошкой.

— Наши полешуки когда-то вообще не стригли волос, — сообщает Полина.

— Как сикхи.

— Это кто?

— В Индии каста такая. По три метра волосы отращивают.

— Ну, наши меньше, но тоже. Считалось: срежешь — заболеешь. В ковтуне все болезни.

— Ой, постой, вспомнил! Богиня Мэб. У нее крылья из комариных туч, из маленьких мошек. Она хвосты лошадям заплетает по ночам, богиня Мэб. А людям ковтуны делает. У Шекспира, знаешь «Ромео и Джульетту»?

Джульетту на школьной сцене Вира играла; Полина помнит бледное лицо, предсмертный грудной голос. Повторила перед Францем:

— Обожди меня, Ромео! И я с тобой, я иду к тебе! И «заколола» себя «кинжалом».

— Кажется, она пьет яд? — возразил Франц.

— А ты что, носишь с собой? — невольно спросила, вспомнив про тех немецких офицеров.

— Неплохо бы. Гранату конфисковали.

Когда к землянке шли, увидели на березовом кусте странно зависшую ворону. Смотрит на них в ужасе, пошевелилась и заскользила по листьям, еле удержалась на нижней ветке. Больная? Или это уже так подросли птенцы, по неосторожности вывалился из гнезда. Не заметили, а уж подступило лето. Лес отяжелел от листвы, хвоя выбросила свежие зеленые (тут же начинают желтеть) стрелки. А соловьи запускают свои трели-очереди и утром, и вечером. Появился в лесу мастер, и все остальные певцы тянутся, подстраиваются под него, стараются изо всех силенок, чтобы и у них не хуже получалось. А тут еще невидимые лягушки на всю округу сообщают: ка-ак хор-р-ро-шо, сладко!

Когда Полина невольно протянула руку, чтобы помочь вороненку, он от испуга — где и силы, умение взялись — взлетел и сел

на нижний сук сиротливо, в еловой засени стоявшей березы. Покачался, чтобы не упасть, укрепиться. И взялся отряхивать влагу родного гнезда, соскабливать детскую липучку с перьев, пропуская через клюв то одно, то другое крыло. Всем хорошо. А что людям плохо, так кто в этом повинен, если не они сами?

Поужинали картошкой и испеченными на раскаленной жести вьюнками (Франц уверял, что ничего вкуснее не ел, будет муттер своей рассказывать).

На этот раз спать укладывались молча, как бы боясь слов, они только мешают. Расстелили Францеву деревенскую свитку из домотканого сукна — это под низ будет, накрыться — плюшевая жакетка Полины. Все без слов и будто всегда вот так спали и ничего такого в этом нет.

— Холодно тебе?

— Немножко. Я вижу и тебе тоже холодно.

— Бедный вороненок. Из гнезда выпал.

— Интересно, какие теперь у моей мутти сны? Она любит их пересказывать, и мы обязаны слушать, как правительственную сводку. Обижается. Вернусь если, она мне их обязательно расскажет.

— Тебе же холодно. Накройся хорошенько. Спи, спи. Не дыши так! лышишь, не дыши так!

Хотела отодвинуться, а он испуганно и виновато затих. Бедный воро-енок! Протянула сама к нему в темноте руки, он прижался к ним горячи-ш щеками, прижался юней, как спрятался. Такой беспомощный; такой по-:ерявшийся... Когда боль пронзила ее и, главное, испуг, что это уже произошло, случилось (подкрался, гад!), она отбросила его с силой, которой сама не ожидала!

— Зверь! Фашист! Фашист проклятый!

— Я же тебя люблю, Полина.

— Волк-кобылу! — и зарыдала.

Печка выгорела, погасла, в землянке неуютно, сыро, запах заброшенности и какой-то безысходности. За дырявым окошком хохочущий, издевающийся хор лягушек. Завернувшись в свой плюш, тихо всхлипывала По лина. Затихший, будто и нет его здесь, лежит Франц. Он, кажется, больше нее оглушен случившимся. Тихонько поднялся, раздул в печке огонек, по; бросил дров. Под смолистое постреливание огня заснули.

Крик ворвался в распахнутую дверь:

— А ну выходи! Ферфлюхтер, мать вашу! И прямо над головами-в окошко:

— Бросаю гранату! Язви твою душу: выходи!

Это мамино «язви» подействовало особенно парализующе.

— Ой, дяденька, не надо, мы деревенские!

Отстранив Франца, вышла, выбежала первая, предупреждая крик — Там брат, он немой, совсем немой!

Пятнистый какой-то человек (плащ-накидка и бритая голова — вс него в пятнах) отшвырнул Полину:

— А мы сейчас посмотрим.

И Франца автоматом оттолкнул в сторону:

— А ну выпентюх! Кто еще там?

— Никого, паночек, только мы! — спешит ответить Полина.

— Проверь, — приказал пятнистый другому в таком же плаще, этого на голове немецкая каска.

— Ишь, бандитские морды! — недобрыми глазами рассматр бритоголовый пойманных. — Хотите увидеть белорусскую птушку С Покажем вам, сталинские бандиты!

И уже к своим, человек шесть их, железноголовых.

— Мало было Сталина этим бульбянникам, не натешились кс ми. Вы за что это воюете?

— Мы цивильные, дяденька, брат, он немоглый совсем, боль причитала Полина, а сама думала: не хуже бабки Адарки, она кор тем, что оплакивала покойников. Только бы Франц не вздумал пс

А пятнистоголовый все ищет, к кому прицепиться. Вот уже с не угодил:

— Иванов, ты куда? В кусты все тянет? Ой, смотри Волошин решил? Бегите, бегите, вас бандиты приласкают!

— Откуда ты взял? — огрызнулся власовец в очках (Полина нимает, кто это).-Человеку посц… нельзя?

Франц же о своем все думал, тревожился: на просеке ера? немцев. Несколько офицеров в таких же плащ-накидках, но вы‹ ражки на них, а не каски и не пилотки. И главное, смотрят те остальные на них, — что сразу понимаешь: самые большие начг эти.

Франц изо всех сил старался не испугаться, не привлечь ния. Но все-таки это были первые немцы после Петухов, и мог не испытывать сложнейших чувств, где были не только трет но и щемящая боль за себя, за свою вот так повернувшуюся ‹

— Warum grinst er?[8] — спросил вдруг офицер. О ком э ужто о Франце? — смотрит на него. Ну вот. Ну вот, сейчас все дет, случится!

---

[8] «Почему он ухмыляется?» (нем.)-

А если найдут медальон у Полины: немецкий, а если она не выдержит? Как умеют допросить человека, все, — для Франца не секрет. Тут пришел страх уже не за себя — за Полину. Понял, как дорого ему это своенравное существо!..

Стоявший рядом с офицером, похоже, переводчик, спросил у бритоголового русского:

— Кто они?

— Немой, — охотно объяснил тот и для убедительности пальцем повертел у своего виска, — колхозники. Все они тут бандиты.

Вдруг забеспокоились все, по-немецки, по-русски прозвучало предупреждение: сойти с просеки в лес, впереди какие-то люди! Бежит по просеке человек, одетый по-деревенски, но по тому, как он бежит, а все ждут его, понятно, что это связной, разведчик. И действительно, добежал, запыхавшись, глубоко, с храпом, вдохнул-выдохнул и просипел:

— Идут! Там их целая группа.

И те, что оставались на просеке, все сдвинулись, углубились в чащу, затолкав туда и Франца с Полиной. Тут много их, власовцев, и, очевидно, немцев. Оказались рядышком с тем самым «Ивановым», или он придвинулся специально, вдруг как бы показал себе за спину: убегайте, пока не поздно! Но, кажется, поздно: тут уже и бритоголовый.

— Ты и ты, — приказал двум власовцам, — отведите их... Ну, хотя бы к мостику.

Те на него смотрят спрашивающе:

— Что непонятно? Отпустите там. Чтобы ни звука. Одна нога там, другая здесь. Форштейн? Выполняйте!

И поднял глаза к небу, усмехнувшись гадко. Полина поняла, а Франц, похоже, испытывает облегчение, что он уже не в поле зрения немецких офицеров.

Францу даже интересно наблюдать ягдкоманду в действии, сколько раз читал с восторгом о смельчаках, которые, перенимая тактику партизан, проникают в самое гнездо их, а там, затаившись, дожидаются, как охотник зверя, ничего не подозревавшего врага. Но писали именно о немецких «охотничьих командах», эта же — вся почти из русских иностранцев.

Полина понимала, куда их и зачем ведут. Тот, что с винтовкой надел на ствол штык-кинжал, сталь хищно клацнула, у автоматчика, рыжебро-вого под каской, кинжал висит на поясе. Будут резать! — руки-ноги у Полины загудели, как будто они пустые, полые, продуваемые морозным зимним ветром. Ее на глазах у Франца

резать, Франца на глазах у нее. Страх не только боли и не только ужас сам по себе, но и стыд.

Ее животный ужас будет видеть Франц, а она — его ужас. По этой короткой лесной дороге вчера шли к речке вьюнов ловить. Тут совсем рядом, сейчас, сейчас это случится!

— Ну, иди, иди! — подталкивает Полину штыком пожилой власовец, чем-то, какой-то внутренней злобой напомнивший ей Отто. Франца впереди ведет рыжий автоматчик. Как сообщить Францу, что их ведут убивать (если он еще не понял) и, главное, что стрелять, шуметь, когда партизаны рядом, нельзя. Если броситься в лес, им будет не до того, чтобы ловить, но надо обоим, вместе. «Отто» не зря нервничает, злится, чует, что может произойти. Полина уже побежала бы, будь что будет, но Франц, Франц…

— Так, значит, Пушкину царь говорит, — вдруг поворачивается ры-жебровый автоматчик, обращаясь к «Отто» через голову Полины, — говорит: «Пушкин, не ты написал „Луку Мудищева?“ А Пушкин, язви его душу…

— Вы не с Алтая, не алтаец? — перехватила его взгляд (показалось, добродушный, не угрожающий) Полина.

— Ну, алтаец, а что?

— У меня мама из-под Леиииногорска.

— Гэ, я тоже из Рыдера. Это по-сталински: Лениногорск. А настоящееРыдер, англичане руду добывали. Так что ты хотела сказать?

— Ну, что мама моя с Алтая тоже. Она как и вы говорит.

— Гэ, слышь, Муха, — обратился к „Отто“, — землячка моя.

— Иди, лысого этим обрадуй. Вот сейчас они там подойдут, да влепят тебе очередь в спину — побратаетесь. Я бы их всех! Чего это мы их так далеко провожаем?

Францу казалось, что самая угроза миновала. Тот же сказал: „отпу стите“. Офицеры ничего подозрительного не заметили. А разгадай они Франца! В 40-м немецкие матери по радио и в газетах кляли своих сыновей, которых сбили над Англией, и они не так что-то сказали про фюрера. А что сделали бы с его матерью, отцом, что их принудили бы делать, когда бы открылось, что его не выкрали партизаны, убив Отто (хотелось верить, что именно так подумали), а что это он убил товарища, немца убил, изменил самому святому.

Вот и знакомая речушка открылась, зловеще торчат вывернутые из желтого песка черные бревна, гнилые жерди, внизу густой ольшаник- вышли к мостику. Вот и корзина валяется, Францев кош, которым вьюнов отлавливал. Схватить за руку, закрыть глаза и,

потащив его, прыгнуть прямо на кусты. Как будет, так и будет. Пусть стреляют, если решатся: они так страшно остановились напротив, эти двое, сами как бы растерялись, не знают, с чего начать. А Франц сияет голубыми благодарными глазами, считая, что его и Полину отпускают.

— Спасибо! — от полноты чувств произнес немой.

— Ах ты, сука! — взвыл „Отто“ и штыком пырнул его сбоку. Коротко, но резко. Полина пронзительно закричала и полетела вниз. Она уже не видела, как „Отто“, не выдергивая штыка, столкнул следом Франца. Тут же все вокруг как взорвалось-от близкой пальбы. Не слышала крика:

— Кончай их автоматом!

Строчил по ней, по ним рыжий алтаец или нет, Полина не знает. Оглушенная падением, вся исцарапанная, почти теряя сознание от боли в плече, Полина открыла глаза и увидела вдруг (или почудилось это) над собой седую морду собаки, внимательно смотрящей прямо в глаза ей. Странные уши у этой собаки: шалашиком, будто склеенные, как будто рог у нее на голове. Тут же исчезла как видение. Заставив себя подняться, Полина горячечно искала глазами Франца: она в какой-то миг успела увидеть прочертившее небо распластанное человеческое тело. Густой ольшаник примят, прижат к земле — там! Хватаясь за кусты бессильно-вялыми руками, погреблась в ту сторону, вдруг увидела — что это?! — красную паутину, оплетшую ветку олешины. Липкие тянущиеся нити крови ярко пылают в солнечных лучах. А на листьях она дегтярно-темная. (Это не была всего лишь игра света: на хинно-горьких ольховых листьях кровь почему-то делается черной-это уже мое наблюдение с войны.)

Наконец увидела тело Франца — комком. Ноги, руки, шея — как в узел завязаны. У самой живот подтянуло к похолодевшим позвонкам, когда, выдернув из брюк Франца рубаху, увидела синюшную рваную рану и, как ей показалось, белую полоску ребра. Руки ее тотчас окрасились в кровь, она смотрела в лицо, побелевшее, мертвое.

— Да помогите же! — крикнула непонятно кому. Эхо боя разносилось где-то высоко над ними. Глаза открылись, голубизна в них тусклая, неживая. Всматриваясь куда-то далеко-далеко, Франц спросил:

— Wohin soll ich springen? Mama, wohin?[9]

---

[9] «Куда прыгать? Мама, куда?» (нем.).

10

Не все погибли, не всех убили, живы остаются даже на такой войне, которая досталась нам. Штык-кинжал, казалось, прямо в живот погрузился. Но в последний миг без всякой воли Франца, тело само изогнулось, уходя от верной смерти. И штык, скрипнув, прошел меж ребер. Одна Полина могла бы рассказать женщине с^чужими строгими глазами, фотографию которой носила в медальоне, как Францу, им с Францем удалось уцелеть. И там, возле моста, и позже, когда несла их грозная предфронто-вая волна, толкая перед собой, обрушиваясь сверху, накрывая их вместе с тысячами таких же, как они, бегущих от погибели. А как убежишь, если она кругом, везде, несет всех, как щепки в половодье — ты в ее цепких объятьях, сам не веря, что еще живой?

Сначала вернулись в ту же землянку, откуда их недавно погнали убивать. Полине туда возвращаться было страшно, но куда-то надо было спрятаться с раненым. Не день, не два нужны, чтобы он поправился. Она тащила Франца, вслушиваясь в редкую пальбу удалившегося боя, каждый их шаг страданием, болью отражался па посеревшем лице раненого. Полина прижимала к раненому боку Франца ком ольховых листьев, слипшихся от крови, понимала, что это бессмысленно, кровь этим не остановишь, но тем сильнее вжимала руку, как бы удерживая в обмякшем теле остатки сил, жизни.

Дни покатились без счета, слипаясь с тревожными ночами, подсвеченными пожарами, с неспокойными, вздрагивающими от далеких и близких взрывов рассветами — сливались в нечто неразличимое, как спицы в быстро несущемся колесе. Уже через неделю пришлось покинуть убежище. К счастью, Полине попалась на глаза кем-то брошенная двуколка (на таких колхозники возили сено с болота, на себе, конечно, коня иметь им было запрещено). Уложив на нее раненого, Полина убегала от настигающей беды. Порой казалось, что не какие-то там каратели — немцы или полицаи их преследуют, а вся Германия, та самая „проклятая“, как о ней поют, мстительно бросилась в погоню. Не успевала дотащиться до какой-нибудь деревни или на хутор, где рассчитывала передохнуть, перехватить что-либо поесть, как приходилось вместе с жителями бежать дальше. Их загнали в гиблые болота, какие уж там тележки. Приходилось не то что идти, а ползти на брюхе. Были моменты, когда от страха с головой провалиться, от неожиданности у полубредящего Франца вырывались немецкие слова — вскрики, и тут он вдруг замечал рядом лицо

ребенка или женщины с расширенными от ужаса глазами: как если бы рядом с ними зарычал, вздыбил шерсть волк или, еще точнее, клацнул пастью крокодил. А когда выбрались на „дальние“, как тут называют, „острова“ („Комар-мох“) и уже можно было стоять и даже лежать, передохнуть, Франца вдруг затрясла лихорадка, жар свалил, как и многих — тиф! Мало всего, так еще и это. Теперь, в бреду, выкрикивал сплошь немецкие фразы. Полине пришлось сочинять легенду. Это итальянец, он убежал из ихней армии, многие убегают после того, как Италия вышла из войны. Немцы их загоняют в лагеря. Но Полине верили не долго: даже дети хорошо знают, чьи это слова: „хальт“ да „комм“. Женщины и суровые подростки начали недобро коситься на Полину и ее „итальянца“, ничего не оставалось, как поведать им всю правду. Чутье подсказало Полине: надо рассказывать подробно, со всеми переживаниями, как оно на самом деле происходило. И Полина постаралась: про то, как Франц спас их с матерью, как вместе хоронили деревню, а мама умерла, как Франца чуть не зарезал власовец, и они чудом спаслись. А когда про ту тележку стала рассказывать, расплакалась. Слезы уже и па глазах у других женщин: все это и они испытали, есть кого и что оплакивать каждой. Но, конечно, и спор возник. Полина правильно сделала, что замолчала. Пусть, пусть женщины наговорятся, сколько им хочется.

— А, усе яны добрыя! Одних спасал, а других, можа, казнил, мучил.

— Девка ж казала: ен тольки што з Германии, кали ен мог поспеть?. — Ужо нагляделись мы на них! На всяких.

— Не, не, бывае, не кажэце! Вось одна женщинка на чердаке схова-лась, лук там сушился, так он amp;тюд него зашилась. А ен: скрып по лестнице, скрып-скрып... Поднялся, подошел, открыл лицо ей, поглядели один на другого, назад положил вязанку и ушел, не тронул.

— А то рассказывали... Офицер один, тоже немец, не выдержал, как они тех детей, баб забивают, отошел в сторонку и себе в голову...

— А гэты, кали ен правда застрелил своего, кто ж его теперь помилует? Кали не мы.

Когда горячка и смертная слабость отступили и Франц стал узнавать Полину, увидел людей возле себя, он вдруг поздоровался:

— Добрый день!

— Ничего, можешь говорить, — успокоила Полина, — люди все знают.

— А ен по-нашему говора! — обрадовались бабы.

А когда убедились, что и говорит и понимает хорошо, начались

прямо-таки политбеседы. Заводила этих бесконечных разговоров — старик, которого все называют Безухий. Он без ушей на самом деле. Если тако выми не считать короткие огрызки, прикрытые редкими клочьями Бабы, те все знают, поведали Полине: в гражданскую войну так уд] деду, одно ухо отрезали красные, второе балахоновцы, белые. Не ни тем, ни другим. Наверное, им так же надоедал, „назолял“, крестьянской правдой, как теперь вот Францу. Бабы уже его, как овода.

— Дай хоть человеку полежать. До чего приставучий дед. Если бы эти люди вдруг причинили Полине даже очень больше она не смогла бы их не простить-за те кружечки молока, которые і сили Францу. На весь „гражданский лагерь“ было две или три кс чтобы добраться до них, надо совершить опасное путешествие п лотным кочкам, и вот каплями молока, что предназначались одним детям, делились с немцем.

А Безухий все старался что-то свое доказать Францу. И вызват на спор. „Деду-усеведу“ (еще и так окликают Безухого глумливые п стки) надо обязательно получить подтверждение, что это немцы при; ли колхозы. И сделали специально, чтобы эти дураки на' востоке ра; лись и работать, и воевать. Армия всегда держалась на самостоятел хозяине, а с колхозника какой спрос? Какой работник, такой и і

А придумал, сделал все внук „Карлы Маркса“, он при Гитлере главный советник. У Франца голова шла кругом от несокрушимой уверенн Безухого. Бабы же предупреждали своего деда:

— Ой, гляди, отрезали тебе уши, и язык отрежут!

Кто отрежет, не говорили, но, судя по всему, знали и они, и сам рик. Потому что говорун на какое-то время замолкал, уходил по св делам. Но вскоре возвращался.»;Вя

— А вот скажите вы мне! А правда, что Геббельс в Москве учш там школа специальная есть для таких?..

Припоминая суждения своего отца о России, про все, что в ней пр зошло после революции, Франц тоже не против был кое-что перепрс рить, а вдруг сможет потом отцу пересказать. Верно ли, что колхс задумывались как возвращение к коммунам, общинам ранних христи; Совместный труд, общий стол, равенство, пусть и не при большом, статке. «Капиталист — во!» — Франц сгребал к своим ногам весь мусс шишки-«а коммунист...» — раздавал те же шишки: «тебе, тебе и тебе». Реакция была неожиданная. Нет, никто, вроде, не возразил, но даже старухи смотрели на Франца, как на блаженного, больного. Дед-усеве все-таки прокомментировал:

— Безухий не я, а вот кто! — и торжествующе показал на Франца. — Может, сами вы, немцы, еще поспытаете, что это за мед.

На все возражения (Полина тоже с ним спорила) дед твердил одно:

— Ну, а почему Гитлер колхозы не распускает? Только вывеску поменял. То-то и оно! Что этот, что Наполеон — испугались мужицкой воли.

Полина слышала, как в сторонке бабы так это обсуждали.

— Мо ен коммунист? Не усих жа Гитлер посажал.

— Говорит так про колхозы, думает, нам это понравится. — : Бедный, каждому жить хочется.

Полину мучит опасение: появятся партизаны, и кто-нибудь обязательно похвастается немцем. Не у каждого есть свой немец. Если бы можно было знать, как они поступят? Ты же не знаешь, какие попадутся партизаны.

Что особенно поражало Франца-эти люди обходили разговоры, которые звучали бы как обвинения ему-все-таки немец. Ждал, что заговорят о выбитых деревнях, о том, что им тут вот надо с детьми прятаться. Ни слова. Даже фюрера почти не упоминают. Но однажды веснушчатый подросток, опасливо оглянувшись на женщин, прошипел:

— Ну что, капут твоему Гитлеру? Говори: капут! Ответили за Франца:

— Надо будет — скажет. Что ты пристаешь?

— Он что, спрашивал, этот Гитлер, у Франца, воевать или нет?

Не поддержали и разговор Безухого про то, встречались или не встречались Сталин с Гитлером.

— Не чапай (не трогай) лиха, пока тихо. Хай яго сорочка не чапае!

Не уточнили: касается это одного фюрера или их собственного вождя тоже. Полина Францу объяснила про сорочку: белорусская присказка по смыслу обратная-«родиться в сорочке», т. е. «добра бы ему не знать». И опять-таки, кому?

Не потому ли не говорят о Гитлере, чтобы не задеть и Сталина? Знакомо это Францу — в Германии, особенно до войны, пожилые люди вели себя похоже.

Ну, а у Полины другие заботы, поважнее проблемы — чей вождь лучше. Ее беспокоит задержка с женскими делами. Неужто то, что у них с Францем произошло, может быть причиной? Да ничего же и не было, кроме боли и обиды. Разве так возможно? Скорее всего перенапряжение сказывается: особенно те трое суток, когда таскала

тележку с полуживым Францем. Знал бы он, какой был тяжелый! А еще все ноги сваливались, хоть ты смейся, хоть плачь!

Припоминая деревенские бабьи разговоры о самочувствии «тяжарной», перепроверяла — что и как с нею происходит. Вот это жжение внутри-не оно самое? А еще возникает навязчивое желание, это известно. Съесть чего-нибудь, особенно соленого. Или такого, что и в городе не найти. Маме, когда «ходила Полиной», захотелось вдруг беломорка-нальской баланды с гнилыми селедцами. Или это выдумка отца, он любил над нею подшучивать. Пока Полина гадала-разгадывала, накликала на свою голову: захотелось, хоть убей, чего-нибудь холодного. Все вспоминала мороженое, каким отец угостил когда-то в железнодорожном буфете: желтое, на скользкой металлической чаше, а от этого еще холоднее.

Сказать, не сказать Францу?

То, что было, случилось у них в землянке, постепенно, по деталям восстанавливалось, но уже не как предтеча всего ужасного, что произошло в то самое утро, и о чем не хотелось вспоминать, а по-другому: ведь это была их первая близость. У Полины — первая, она про себя знает. А про них — разве можешь знать? Вон как тогда полез в избе! И получил! Вдруг ревность — смешно. Лежит, как младенец, слабенький, беспомощный, захотелось бы, так не поревнуешь.

Оттого, что грудь странно затвердела и болит, ощущаешь и все время вспоминаешь его руки. Как тогда! Но уже не оттолкнула бы, наоборот, прижала бы их, чтобы больнее, слаже…

Франц уже сидеть мог, прислонясь к дереву, сидел так часами, провожая и встречая всех слабой усмешкой выздоравливающего. Тиф свалил многих, некоторых похоронили, он же — как с того света вернулся, затихший, задумчивый. Волосы у бедного посыпались, нет ратунку, спасения. Ладно, лес тоже скоро лысый сделается, не горюй и ты! Ольха, осина почернели, дожди зарядили, лесные люди по необходимости осмелели и начали жечь костры, обсушиться не обсушишься, поскольку льет без конца, но хоть нагреется мокрая одежда, кислый пар от нее идет.

Полина все не говорила ему главного. Теперь у нее занятие, игра: глядя на Франца, сравнивать, представлять, какие глаза, лицо, волосы у ее ребеночка. Забывалась в усмешке, но вдруг ее лицо (сама видела) делалось холодным, чужим, спорящим: а вам какое дело? Ну, от немца, не вам его растить!

Мамочка стала мамой, а тата отцом для Полины, будучи такими старенькими. У ее ребеночка мама будет совсем молодая. Вместе на вечеринки бегать будем! — упрямо возвращала усмешку на лицо.

А потом все началось заново: обстрелы, бомбежки. Выкрикнула свою тайну Францу, когда пробиралась по холодной грязи по колено, вдруг испугалась (сосенка от взрыва, взлетев, их обоих накрыла, больно хлестанув по головам, спинам), что убьют кого-либо или обоих, а он так и не узнает.

Но Франц, похоже, не расслышал или не понял, о каком она ребенке. Их столько вокруг, детей, несмотря на слабость, и Франц старается помогать женщинам, у. которых по трое, а то и больше.

В горячке уже почти не замечал Франц (а вначале пугался), когда. рядом появлялись люди с оружием, партизаны. Они то двигались вместе с жителями, то куда-то уходили, пропадали. Франц убеждался: такие же, как и остальные деревенские люди.

Правда, если и Францу, при его маскараде, одежде, дать оружие, сойдет и он за своего здесь.

А однажды случилось такое, что всего перевернуло, как бы не помнил уже, кто он, где он. Такое пришлось увидеть (Полине), в таком участвовать (Францу) — об этом никогда потом не говорили друг с другом и вспоминать не хотелось. Нет, не самое жестокое и страшное из виденного, пережитого, потому что мера давно потеряна на этой войне, в этой жизни.

Эти пятеро появились после явно неудачной операции (боя). Никак успокоиться не могли, по восклицаниям и нервной перепалке можно было понять, что лишь они и вырвались оттуда, живыми. Двое из них ранены, в руку, в голову, казалось, еле держатся на ногах. Вначале наседали на человека в потертом кожаном пальто, с сухим некрасивым лицом. Он не отдал какую-то команду и сам оказался не там, где должен был находиться. Францу интересно было и немного жутковато наблюдать за ними: это и есть те самые партизаны, которых так ненавидят и опасаются немцы. А в кожанке, наверное, командир, может быть, комиссар; Но он не еврей, хотя у немцев принято считать, что они заправляют всем. Есть и еврей; этот, однако, почти не участвует в перепалке, совсем как посторонний. Уселся на вещмешок и смотрит прямо перед собой, как будто поезда дожидается, что вот-вот вынырнет из-за деревьев. А профиль-профиль, ну, прямо-таки карикатура на «юде-комиссара» в солдатских газетах. Что-то притягивает внимание Франца именно к этому человеку. Впрочем, понятно: столько написано, наговорено о еврейском племени, которое ухитряется во все влезть и все повернуть на пользу себе и во вред другим, что встреча с евреем, с живым-в Германии их уже нет-неожиданно взволновала. Нет, Франц не считает себя нацистом-антисемитом, у них в доме этого стыдились. Но Франц

последние годы домой к отцу и матери лишь наведывался время от времени, а жил и работал в молодежных лагерях, где надо было соответствовать образу молодого и кровожадного тигра-солдата фюрера. Франц учился соответствовать. Дожидался, как и другие, дня, когда, как посвящение, будет и у него под мышкой наколка эсэсовца. Насколько, однако, далеко зашло, он и сам не знал: не было вблизи и вокруг евреев, чтобы проверить свои чувства. Но помнит, что холодел от ужаса и как его тошнило, но старался выглядеть не хуже других, когда фронтовик с «Железным крестом» рассказывал, как весело воюет СС на Востоке. Где-то в южном городе: русская жена принесла передачу арестованному еврею. Ей вынесли, вернули посуду. На тарелке, под полотенцем — голова мужа!

И вот еврей сидит перед ним, но ситуация прямо противоположная: не «юде» в руках у «арийца», а «ариец» — в полной его власти. Достаточно еврею, узнав, что это немец смотрит на него, ткнуть в его сторону пальцем, и с немцем сделают то же, что заслуживают, по убеждению солдат фюрера, евреи.

А тем временем что-то переменилось в сцене, которая разыгрывалась в лесу. До этого закручивалось вокруг командира в кожанке, которого винили в недавней беде, угрожающе поносили за неумные распоряжения и, похоже, за трусость. Кожаный подошел к сидящему на вещмешке, долго смотрел бессмысленно, как бы что-то соображая, и вдруг спросил громко:

— Постойте, а где диски к пулемету? йщрГ.Что диски, если и пулеметчика, потеряли, и пулемет, — издали отозвался раненный в голову.

— Все равно. Диски я поручал вот ему, Фуксону.

— Какие диски, какие диски? — оглядываясь, как бы ища поддержки, закричал человек, сидящий на мешке.

— Что значит, какие? — не отставал кожаный. — Тебе было поручено носить запасные. Что, потерял, бросил?

— Кто-то что-то не так сделал, побежал первый, а виноват Фуксон! — неприятно высоким голосом выкрикивал, отбивался хозяин мешка.

— Ты за других не прячься, — вмешался раненный в руку, кривясь от ноющей боли, — каждый за себя отвечай.

— Что у тебя там, чем мешок набит? — все решительнее наступал кожаный. Кажется, рад, что о его вине забыли. — Вот это он не бросил! А ну-ка развяжи!

И еще чей-то голос прозвучал, присоединяясь к командирскому:

— За потерянное оружие, знаешь, что у нас бывает?

Кожаный схватил мешок за лямки и выдернул из-под сидящего, тот смешно по-бабьи завалился на бок. Из мешка вывалились скрутки поблескивающей кожи, новые ботинки.

— Хром, смотрите, сколько из той машины заготовок нагреб! — обрадовался кожаный. — Небось, кожу не бросил.

— Что хром, что нагреб! Если другие побросали, значит, и я должен…

— О дисках речь, куда их подевал!

— А что они без пулемета? Сами же потом попросили бы: Фуксон, сапоги надо пошить, Фуксон, подметка износилась!

— А ты и кинулся делать! Знаем мы тебя! — Это тот, с ноющей рукой.

— Что тут с ним базар разводить? А ну! — Кожаный забрал из рук Фуксона винтовку. — Отойдем-ка туда.

Направились в сторону небольшой поляны, но кожаный вдруг оглянулся на Франца:

— И ты! Пошли с нами.

«Что, почему?» — Франц растерялся. Никак не ожидал, в его сторону никто даже не смотрел, а тут вдруг… Полина запричитала:

— Нашто ен вам? Ён хворы, ен немы, ен…

— Ён, ен, ен! — окрысился кожаный. — Ну что заенчила? Ничего не станет с твоим немым.

— А нашто ен вам, а Божа ж, а што гэта робицца! — на всякий случай выкрикивала Полина, но и понимала: нельзя переборщить. Вдруг тут есть кто-то, кто знает все про Франца, вспомнит, скажет-вот тогда и на самом деле поенчишь. Побежала за ними следом, не выпуская ни на миг из виду, готовая снова поднять бабий крик.

Вышли из леса на поляну, и тут Франц близко разглядел человека в кожанке, его узкое и некрасивое лицо, волчьи морщины на переносье. Что-то знакомое почудилось ему в бессмысленно-злом взгляде, в резко опущенных уголках бледногубого рта. Именно таким легко подчиняются: злость, от них исходящая, постоянна, как атмосферный столб. Она и тебя начинает обволакивать, сначала неприязнью к нему же, но затем ты сам заражаешься его непонятной злостью непонятно к кому-от беспокойства, тревоги, страха.

Куда он и зачем ведет всех, и все идут? Куда, будто знают-даже Фуксон-разумный смысл и цель этого похода. Коричневая уродливо длинная кожанка с белыми проплешинами и трещинами на командире висит, как на вешалке, в руке у него пистолет, а в другой — винтовка арестованного. Зачем позвал Франца, что от него хотят? Глаза кожаного, казалось, бессмысленно шарят вокруг, но нет, увидел

несколько особняком стоящих березок и тут же направился к ним. Показал Францу на белое стройное дерево:

— Ты самый высокий, берись, нагибай. Чего не понимаешь? Вот так-гни! Выше, выше забирай.

Франц попробовал — дерево только пошумело уже пожелтевшей и поредевшей кроной — не поддается. Действительно, пришлось встать на цыпочки и схватить красавицу повыше, как за горло, повиснув, потянул книзу. Перебирая руками поближе к вершине, заставил упрямицу, плавно ослабевающую, пригнуться, навалился сверху на нее, локтями, всем телом, кто-то рядом повис, наклонили как надо. Хотя, как надо и что надо, известно тут, кажется, единственному человеку. От его тайной непонятной мысли исходит угроза.

— А ты, — командует кожаный тому, у кого перевязана голова, — сними с этого ремень.

— Сам снимет, если надо. Ладно, Фуксон, давай твой ремень.

Что? Зачем? Что вам от меня надо?!

— Давай, раз приказывают.

И тот торопливо распоясался, темный плащ с раздутыми карманами повис на нем уродливо, как халат. А кожаный распоряжается дальше:

— Привязывай за ногу. Ну, что непонятно? Ногу. К березе. Ремнем. Понял, немая ступа?

И сам подтолкнул Фуксона к Францу.

Франц и второй, помогающий удерживать пружинящую березу, нелепо пытаются поймать ногу Фуксона, тот отступает, смешно отпрыгнул, вырвав колошину немецких штанов из Францевых ногтей.

— Вы что? Что вы придумали? За это ответите?

— Э, ответите, ответите! — вдруг разозлился ленивого вида крепыш-парень, до этого ни в чем не участвовавший. Как укусили его.

Схватил голову бедного Фуксона сильными руками «в замок» и подтащил его к дереву: привязывайте! Франц схватил ногу ременной петлей, быстро протянув конец через металлическую пряжку, будто не раз такое проделывал. Кожаный одобрительно помахал пистолетом. На пару с тем, что помогает удерживать березу, торопливо стали конец ремня привязывать к стволу. Фуксон уже лежит на земле, нога задрана к небу.

— Вы что, вы что? — все повторяет несчастный, дергая ремень, как бы пробуя, достаточно ли прочно, хорошо ли*нога привязана.

— А вот сейчас поймешь!

— Будет тебе хром!

В выкриках не злоба, а как бы игра, всех завораживает само действие, нечто происходящее сними.

— Наклоняй вторую, — командует кожаный и, отшвырнув винтовку, сам бросается к стоящей в метрах семи такой же березе. — Сюда, к нему гни!

Фуксон в отчаянии закричал на весь лес:

— Люди, помогите! Это фашисты! Вы что, фашисты? Вы фашисты, или кто?

Ухитрился вскочить с земли, на ноге, еще не привязанной, пытается ускакать, убежать, снова упал, на руках старается уползти, а его тащат, волокут, прижимают, вяжут:

— Ах, мы фашисты?.. Значит, вот мы кто?.. Сейчас ты увидишь, кто фашист!.. Сука! Фархфлюхтер! Свинья! Фуфло! Иуда! Шайзе!..

Чьи были слова, чьи голоса в этом безобразном клубке яростных тел, кто молчал немо, а кто нет-никто не мог бы разобрать. На другом конце поляны тоже кричали-женщины, их испуганные голоса все нарастали.

— Крепче, крепче привязывай! — командует кожаный.

Ноги несчастного уже смотрят в небо, плечами, головой он егозит по жухлой траве, перемещаясь с места на место на локтях, как членистоногое насекомое.

— Отпускай! Поехали!

Раздался вопль ужаса — деревья, вздрогнув, йодскочили, пытаясь распрямиться, стать, как прежде, но не смогли. Их удерживали распято голые, страшные в таком положении человеческие ноги. А руки висящего головой вниз почти достают до земли, скребут траву, опавшую листву. Какие-то ухающие звуки: «У-о-х!» «У-о-х!» доносятся из-под свисающего книзу плаща, закрывшего голову, лицо подвешенного.

Что происходило бы дальше, сказать невозможно: крик со всех сторон нарастал, людей на поляне все больше. Кожаный, как бы вспомнив про свой пистолет, торопливо выстрелил-в упор в оголившийся тощий живот висящего. Руки подвешенного напряженно подвигались и повисли мягко.

Онемевшая Полина все это наблюдала из-за куста, вскрикнув от боли, прижала ладони к своему животу. Как бы закрывая ребенку глаза.

11

Блокада-такая штука, не позволяет задержаться, остановиться.

Гонит безжалостно вперед, даже если бежать уже некуда. И для Франца с Полиной, для тех, кто рядом, такой момент наступил-плотная стрельба вокруг, совсем близко, рядом. Их взяли. Франц слушает, слышит, как люди в плащах, пятнистых накидках по-немецки переговариваются: что делать с пойманными бандитами? Тащить их через болото или лучше будет-положить на месте. Толстый, в очках, ефрейтор с неожиданным упрямством возражает старшему офицеру: оружия при них нет, их следует запереть в лагерь! Франц вида не показывает, что понимает. Не хотел, чтобы и Полина знала, о чем сговариваются.

Так они оказались в лесном лагере. Что за лагерь, где это, не знали, плохо ориентировались, но часто слышалось, звучало слово: Озаричи.

Шли долго, почти целый день. Снова и снова позади резко стучали выстрелы — это пристреливали тех, кто упал, не мог идти. Сколько раз у Франца готовы были вырваться немецкие слова, обращенные к тем, кого он должен считать своими земляками. Но он молчал, прячась за уже стыдную, уже позорную свою немоту. Забрал у ослабевшей женщины девочку, нес ее на плечах, Полина вела двоих за руки. Девочка все повторяла, наконяясь к уху Франца: «Я не боюсь, я не боюсь, немец нас не застрелит, ты, дядя, не бойся».

Лагерь — это огороженный колючей проволокой кусок заболоченного леса, ни единого барака, даже землянки, люди, их тут бессчетные тысячи, стоят, вяло переходят с места на место, мертво лежат в холодной грязи. Очень мало мужчин, даже стариков, в основном женщины с детьми. Казалось, и недели прожить тут невозможно.

Прожили чуть не полгода. Мать Лизы-девочки, которую принес в лагерь Франц, умерла от тифа. Теперь девочка жила при Полине и Франце. Целыми днями синяя, большеглазая, лежала она на обжитой ими лапинке гнилой кочковатой земли, согреваясь всем, что живые забирают у умерших, а ее приемные родители толкались у ворот в надежде дождаться привоза какой-нибудь еды. Когда приходила машина, полицаи, немцы швыряли в голодную› толпу подмерзшие буханки хлеба, стараясь обязательно попасть кому-нибудь в голову. Свекольными «гранатами» — прямо в лицо, веселились, забавлялись, налетай, не зевай! И налетали из последних сил, затаптывая тех, кто послабее, выхватывая хлеб, как собственную жизнь, из чужих рук. Но зато какое счастье в глазах ребенка (Лизы!), который видит хлеб в твоих руках.

Франц, глядя на довольных своей сытостью и властью над

тысячами жизней охранников, мог представить себя на их месте. Он тоже мог стоять на вышке с пулеметом, на машине, целился бы из пулемета в Полину, Лизу, забавлялся стрельбой по ним по всем, швырял хлеб, как кирпичи, им в голову. И был бы он тоже Франц — так кто же, что же такое люди?

Лизочка продержалась всего лишь до первого снега. Выбравшись из-под горы грязных телогреек, кожухов, глянула на белый саван, укрывший живых и мертвых в этом страшном лесу, сказала еще: «Мама (Полине) попроси у таты (у Франца) хлебца»... И умерла — с румянцем на истощенном личике. Тиф, настигая человека даже на последней стадии истощения, вспыхивал вот таким неправдоподобным румянцем, обманным, прощальным. Человек умирал, и тогда все вши выползали наверх, убегая от холода смерти на мороз. На умерших женщинах, которые лежат по всему лесу, если платок или кожух — то посеревшие от насекомых.

Вначале умерших собирали на телеги, вывозили к ямам — рвам-у проволочной ограды, а когда выпал снег, ударили морозы, и трупный запах, пропитавший лес на десятках гектаров, отступил, этим бросили заниматься. Хлеб и даже гнилую картошку почти перестали привозить. Охрана засела на своих вышках и в наружных бараках, а запертые в лагере полутрупы- в земляных норах, почти не выползали, лишь из некоторых чуть заметно выходил наружу пар их немоглого дыхания.

Теперь только Полина дежурила у ворот с несколькими, такими же, как она, неузнаваемо изменившимися человеческими существами. Франц почти не оставлял грязной земляной поры под единственным в этом хилом сосновом лесу дубом. Полина, возвращаясь с хлебом (все реже и реже), иногда находила его уже наверху — терпеливо дожидался, а вдруг не с пустыми руками. Как в свое время — Лиза. Вши уже поверху пошли, самое ужасное, они даже на бровях у него. А он не замечает, не понимает, что это мешает его ресницам, жалко моргает — о, Господи, и это ее Франц! Смотрит на ее руки, на хлеб, как бы боясь, что не дадут, что ему не до станется. Как будто Полина когда-нибудь не поделилась с ним. Она бы и свое отдала, но ведь не ей одной надо, а еще и ребенку, и х ребеночку. Порой казалось, что он уже и не живой там, ничем о себе не напоминает. Иногда отдав весь хлеб Францу (он хватал и тут же уползал в нору), она падала на снег и плакала — от обиды на Франца. Как, как он может быть таким? Значит, ему теперь ее любовь не нужна? Ничего не нужно, кроме куска хлеба.

12

Мой друг-философ поймал удачную мысль: а что если подсчитать, сколько раз слово «вдруг» и его синонимы встречаются на одной странице у различных авторов, сколь часто время — жизнь спотыкается на бегу. В прозе Пушкина подчеркнутые красным фломастером слова мелькают лищь изредка, как километровые столбы. У Толстого почаще, но в той же ритмической последовательности. И вдруг запылали страницы! — Это роман Достоевского.

Ну, а если саму жизнь можно было бы вот так разметить, собственную или чью-то? Сколько раз «вдруг» в течение дня? Повороты, рывки, неожиданные события. Ну, а если существование, как у Франца с Полиной, когда неожиданностью не является уже и смерть? Она- повседневность, исчезла грань, граница между жизнью, бытием и небытием.

В Озаричском лагере само время остановилось: казалось, ничего уже не может произойти. Умрешь-так какое же это событие?

Раз в несколько суток из ямы под корнями дуба, по краям которой грязная наледь (будто и дыхание уже нечастое), выползало неправдоподобное существо, судя по одежде и торчащим из-под платка клочьям волос, женщина, не сразу распрямлялась, какое-то время опираясь обеими руками о дерево. Потом, перебирая ими по стволу, выпрямлялась и, наконец оттолкнувшись, начинала двигаться... бегом. Но только пять — десять шагов и тут же падала: ноги не поспевали за телом. И все начиналось сначала. Лицо... В лицо, в глаза лучше не будем заглядывать. Пощадим Полину.

И не станем заглядывать в нору, где безвылазно уже лежит тот, кто был Францем.

Но уже по-весеннему светит солнце. И какие-то звуки стали доноситься по утрам в этот мертвый лес с той стороны, откуда оно поднимается. Люди, которые двигались и жили вне лагеря, маячили на вышках, делались все беспокойнее и задумчивее. Но не будем и в эти лица заглядывать-что нам до них? Мало они что ли ненависти уже получили за все? Что тут наша запоздалая капля может изменить? Да и нужна ли она?

И вдруг что-то произошло в мире, из которого, казалось, навсегда ушло оно, великое ВДРУГ. Полина кое-как доползла до грязной площадки вблизи ворот, увидела привычную толпу из одних женщин, приготовилась ждать, надеяться на чудо появления хлеба, как напрасно ждала несколько последних дней. Но что это, куда все

так напряженно и безуйно смотрят? ГлянуЛа и она, ничего не поняла: ворота распахнуты и н и одного охранника вокруг! Тишина невероятная.

Люди как будто увидели кого-то там, за воротами, на уходящей в лесную даль грязной дороге, — закричали и побежали. Путаясь в собственных ногах, шатаясь, некоторые бабы падали и подняться не в состоянии были. Это был странный бег, как во сне, когда сердце выскакивает от быстрых ударов, а ноги еле-еле двигаются. Если бы Полина оглянулась, она увидела бы, что другие бегут назад, в свой лес, к оставленным там детям, близким. Но таких было не много. Остальные не помнили в этот миг ничего и лишь видели распахнутые ворота. И даже, когда раздались первые взрывы на дороге, на поляне (бежали, рассыпавшись широко), не остановились. Ничего не понимали, а потом раздались крики: «Ми-ины! Люди, ми-ины!»

И тут рвануло возле Полины, не под ней, а под впереди бегущим стариком, — смрадом и огнем полоснуло по глазам, по лицу. Зажав лицо ладонями, упала в грязь. И позвала:

— Мама!

Вспомнила и неслышно сказала:

— Прости, Франц.

Кто ее поднял, кто вел назад, она не видела: глаза залепило, ей казалось, что кровь мешает смотреть, слиплись пальцы, которыми закрывала лицо. Голоса вокруг, крики были испуганные, но все равно радостные. Ей надо было услышать Франца, его голос. Кто-то стонал рядом, а женщина пронзительно кричала, подумалось: как роженица! И про своего: напугался, маленький? Это мама твоя виновата, все мама!..

Немало времени минуло, и вдруг загудело, и снова закричали, непонятно, радостно. Полина в ужасе, в отчаянии терла глаза, стирала кровь, липкую теплую пелену, чтобы увидеть, чтобы смотреть — щемило лицо, кожу на левой щеке, на шее и лбу, правым глазом чувствовала свет, но и только.

Потом около нее зазвучали забыто спокойные человеческие голоса, кто-то трогал ее лицо мужскими, с запахом табака, пальцами, просили ее убрать свои руки.

— Правый цел, кажется... — услышала она. Крепко запахло аптекой, чем-то холодным-холодным смочили лицо. Она крепко зажмурилась, все надеясь: вот сделают так и так, откроет глаза и будет видеть. Й правда — правым разглядела высокого военного в серой шинели, неправдоподобно толстую женщину в белом халате поверх телогрейки.

— Перевяжите — и на машину. Остальное потом, — приказал военный и отошел к другим.

С машины и разглядела Франца. Лицо ее, голова уродливо и тепло обернуты ватой, бинтами, но один глаз открыт. Увидела: стоит позади всех, взгляд тупо-растеряниый, нет, как у забытого, потерявшегося ребенка. Вид страшный. Как бы теперь только это увидела по-настоящему. Толстая женщина в халате нетерпеливо обернулась на ее вскрик:

— Иу, что там? Вы кого зовете? Муж? Это какой, кто? Немой? Где тут немой? Кто муж этой женщины? Давайте его на эту машину.

13

Когда учился в Минском университете, в нашей комнате по улице Немига были одни лишь фронтовики и недавние партизаны. Как и во многих других комнатах. Наша особенно знаменита была баянистом — Иван Иванович с физмата. Все коридорные танцы метелили под его музыку. На свадьбах репертуар Иван Иванович выдерживал строго классический. По одному уводили невесты-жены наших фронтовиков-партизан, и провожал их в семейную жизнь Иван Иванович маршами: из «Аиды», из «Фауста». Лишь потом, позже мы это услышали в исполнении симфонических оркестров.

А вот на его свадьбе наших было мало. По-моему, не захотел нас видеть у себя. А точнее, чтобы мы увидели.

Лишь в день его погребения, Ивана Ивановича, — через долгие годы — я увидел его жену, побывал в квартире. Лежал он в гробу в столь непривычном на нем костюме (всегда ведь в черной, все одной и той же, гимнастерке), а на стуле возле него сидела женщина, все время полуотвернувшись. Я знал, мы знали, а тут я впервые рассмотрел: щека черная, как остается от близкого взрыва, глаз один жутковато неподвижный, вставной. Ей самой, возможно, было безразлично, как она смотрится, отворачивалась же (вдруг подумалось): ради покойного. Раз он не звал нас к себе, значит, не хотел, чтобы видели.

А ведь знали его историю, на редкость романтичную в наше не столь уж романтичное время. Помню, я переживал ее почти со слезой, когда однажды услышал. Сам он и рассказал. В группе подрывников, которую Ваня водил на «железку», была (или в тот раз оказалась в ней, возможно, сама напросилась, это бывало) молоденькая девушка. Когда уходили после подрыва эшелона, убегали, она напоролась на мину. Несколько километров он нес ее на руках. Вспоминая, сказал:

«Прижалась, худенькая, дрожит, как дитя»... Вот эта память их и поженила. Наверное, он гордился своим поступком: не тем, у железной дороги, а послевоенным. А были или нет счастливы — кто знает? Было горе на лице вдовы, но доброты, кажется, не много. А Ваня и запивал сильно, и все время туберкулезом болел. Сын их попал в тюрьму, на похоронах отца его не было.

Если бы за все хорошее воздавалось полной мерой-было бы просто жить. А жизнь не проста.

14

На спаде (или как говорят белорусы: на сконе) лета 1944 года над размытыми и поросшими лебедой пепелищами Петухов разносился одинокий звук. Негромкий, вялый, какой бывает, когда стесывают кору, звонкий, сухой, когда прямо на срубе высекают канавку, чтобы уложить мох-для соединения со следующим венком бревен.

На опушке леса стоят двое и вслушиваются. Впрочем, их трое — на руках у женщины, завернутый в грязный марлевый лоскут, спит малыш. И косынка на голове у женщины марлевая, от этого особенно заметны черные крапинки на изуродованной левой щеке, на лбу. У ног мужчины армейский вещмешок, сам он в русской шинели, для него короткой, она вся в бурых пятнах, заношенная.

— Это татка, мой татка! — шепотом восклицает женщина. — Я как голос его слышу.

— И пришли они в Вифлеем...

— Мне не верится, что мы снова здесь!

— И пришли в Вифлеем, потому как велел Август отправиться каждому туда, где родился. Иосиф пошел записаться с Мариею, обрученною ему...

По дороге Франц уже несколько раз вспоминал про библейскую перепись, а вообще-то они с Полиной очень обрадовались, когда в военном госпитале им выдали бумажку, одну на двоих (с упоминанием о ребенке): «препровождаются по месту довоенного проживания».

В том госпитале они прижились надолго, Франц работал по заготовке дров, Полина, немного поправившись, при кухне и санитаркой, а затем пришло время рожать. Обнаружила, что за время, пока она болела, ее «немой» стал общим любимцем в госпитале, медсестры его жалели, подкармливали. Даже приревновала:

— Ты теперь меня такую поменяешь. Я знаю.

А Франц улыбался так, что хотелось верить: уродливо склеившийся ее глаз и эта ужасная несмываемая чернота на щеке для Франца как бы невидимы.

Старый Кучера издалека увидел и стал приглядываться: что это за женщина так спешит, направляясь к его селищу, селибе. Белая косынка то появляется, то прячется в березовой зелени. Последний раз тюкнул топором и, не слезая с высокого сруба, следил за живым пятном глазами, уставшими от многодневного безлюдия. Когда увидел на руках у женщины дитя, несмелая мысль — а вдруг Полина? — стала гаснуть. Но все равно интересно, кто это-а вдруг сыскался еще один петуховский житель?

Полина уже видела, уже узнала отца: голова совсем-совсем белая, а лицо красиво-загоревшее и усы, борода все еще темные. Татка, татка! — комок слез не выпускал голоса, крика.

И когда она выбежала из кустов с плачущим ребенком, которому передалось волнение, и выкрикнула-таки: «тэта!», старик, непонятно каким образом оказался на земле. Прихрамывающий (Полина испугалась, что ударился, свергаясь со сруба), двинулся ей навстречу. Полина, дочка! Но что это у нее с лицом, со щекой? И чей малышок на руках.? Как же она похожа на свою маму! Молодую, беломорканальскую.:- А донака моя, а что с тобой сделалось! — непохоже на себя запричитал отец. Обнял ее вместе с ребенком. — Ну, ничего, ничего, главное, живые, встретились. А где же мамка, жива?

Полина, повернувшись, посмотрела на то место, где они с Францем оставили холмик-могилу, там все заросло бурьяном, травой.

— Так это она? Я почему-то так и подумал. Так и подумал.

— Мы тут решили поховать. — Полина сказала «мы» и оглянулась в сторону опушки. Франц там, дожидается, когда покличут.

— А Павлик? Он что, в армии? — в свою очередь спросила у отца.

— Ушел наш Павел, сказал, пойду добивать зверя в логове. Некоторых оставляли работать в районе, а он: пойду добивать. И вот…

Стал шарить в карманах, потом махнул рукой в сторону шалашика, возле которого валяются одежки, котелок стоит с ложкой, ведро.

— Там похоронка. На Висле сложил голову наш Павлик.

Видно, чтобы не дать ей заплакать, тут же спросил у Полины про дитя, которое молча, оценивающе разглядывало своего деда:

— Твое?

— Наш Павлик, — специально ударение сделала: наш! — Мы его

так назвали. О, Господи, как будто чувствовала!

— А отец кто?

— Тут, тут, тоже пришел. — Полина показала на лес. — А что у вас с ногой?

— Да малость миной подцепило.

— И меня, татка, во, видишь! Но Франц говорит, что зато не потеряюсь, приметная.

И заплакала.

— Ну, ничего, ничего. Зато во какой у вас красавец! Франц, говоришь? Что ж он в лесу прячется, как соловей-разбойник?

— Ой, я вам все, все объясню. Мама вам то же самое сказала бы. Они так подружились.

— Постой, постой! Мне Павел рассказывал… Так это он?!

— Да, он, татка.

— Не-мец? Вот не ждал, не гадал! Знал, что отчаянная ты у нас голова, но чтобы на такое решиться! Ты соображаешь, что про тебя люди говорить будут? Как жить нам теперь? То-то прячется в лесу. Так и будем жить, дочка?

— Увидишь, татка, увидишь, какой он! Вы что, вот так сами этот сруб и складываете?

— Спасибо хоть лес вывезти помогли вояки… Ага, так это ты мне помощника привела?

— Направили нас — «по месту жительства». И документ есть. Он такой старательный, Франц, такой рукастый, врачи просто влюбились в него.

— Ну, а ты, ясное дело, тем более. Значит, это он вас спас тогда? Ну что ж теперь делать будешь? Зови своего соловья-разбойника. Будем разбираться.

Пока к ним приближался немец-зять, позванный радостным голосом любимой дочери, партизан Кучера с каким-то внутренним нервным смешком снова пробегал свою жизнь: ничего не скажешь, только этого ему еще не хватало!

— День добрый, Иосиф Герасимович, — скромно и вполне по-здешнему поздоровался цыбатый парень в заношенной русской шинели, голова коротко стриженная — так выглядели советские военнопленные в 41-м. Что ж в нем от немца осталось?

— Добрый, говоришь, день? Что ж, будем надеяться. А за них-спасибо! — Показал на Полину, глянул на могилу жены. — Судьба, значит, такая. Хороший у вас пацан, вон, чмыхает, как сердитый ежик.

— Ой, правда, татка! — обрадовалась Полина, что так все

хорошо складывается. — Никогда не плачет, только сердится, если голодный.

— Ты что, — спросил Кучера Франца, — коммунист? Рот-фронт, как говорится?

— Наин... Нет. Христианин. Отец у меня пастор. ·- Это то же, что священник, татка.

— Знаю, ксендз. Я про коммунистов сказал, потому что их раньше из плена домой отпустят.

— Причем тут плен, татка? Франц не в плену. Он с нами.

–. С нами-то с нами. Если, конечно, получится. Человек предполагает, а власть располагает.

— Не за проволоку же ему идти!

— Врагу не пожелаю, ты меня, дочка, не дергай за усы. Вот так, Франц, все-таки не удержался партизан Кучера, — ваши морили совет ских пленных, теперь самим приходится. Ты куришь? «Палишь»? — как говорят наши и ваши соседи на Висле.

Выгреб из кармана зеленого немецкого френча, который валялся возле шалаша, какую-то железку, кремень, высушенную чагу-трут, металлическую масленку, из которой на клочок газеты сыпнул табака, свернул цигарку и занялся добычей огня.

— Катюша, — сообщил Францу, — чудеса техники!

Сообща добыли, высекли огонь. Немец старательно держал сухой трут, ловя искры. Затем сам соорудил себе цигарку и прикурил у тестя.

— Трубка мира — сказал, несколько смущенно.

— А ты ничего парень! — прикинул Кучера. — Гляди, что и проживем. Смеха ради.

Так и зажили вчетвером на пожарище деревни Петухи. Полина, держа глаз на Павлике, хозяйничала «по. дому», а это-весь сад, огород, наскоро сложенная печка на месте баньки, одним словом, все, кроме дома. А дом вот-вот подведут под крышу ее мужики.

Прибилась к ним собака, вначале напугала Полину: волк! Уши торчком, морда рыжая, почти седая-Полине сразу припомнилась та, что с моста на нее смотрела, не она ли? Собака-«волк» вертелась поодаль: ляжет под кустом и смотрит. А то вдруг побежит, ну, совсем рядом, заглядывая людям в глаза. Еще украдет мальчика! — пугалась Полина. Хоть бы вы ее отогнали, мужчины! А однажды, когда обедали, подошла нерешительно на расстояние руки и', поскуливая, легла возле старого Кучеры.

— Ну и правильно, — спокойно сказал старик, — куда тебе без

людей? Это ж она просится назад к нам. Видишь, и собака не хочет быть волком. Как тебя будем называть? Все-таки: Волк. Ладно? Но мы это нарочно. Мы-то знаем, кто ты. А плохие люди пусть думают.

Так и прижился пес. Но Полина не сразу поверила в его собачью природу. Зато Павлик с Волком подружились моментально. Огромный пес, как бы из уважения к чувствам матери, сторонился его, но больше для виду. Смотрит при этом на женщину: «Видишь, это он сам, я тут ни при чем!»

Старый Кучера и Франц уже достраивали дом.

— Нет, вы, немцы, что воевать, что строить-мастера! — снизу говорил Кучера, подавая стропилину. — Как же вы с этим Гитлером лажанулись? Хотя, разве вы одни?

Отец часто уезжал в районный центр-за гвоздями, инвалидный, паек забрать, привозил газеты. Выходил на шлях, это километра три от Петухов, там ловил попутную машину. Возвращался иногда и навеселе В «районе» у него дружки-партизаны, многие начальниками заделались.

А однажды вернулся в таком подавленном и встревоженном состоянии, что Полина сразу заметила, испугалась: что, что-нибудь с Францем?..

— Да цел будет твой Франц. Просто устал я.

Не захотел рассказывать дочке. Что толку, если и она будет нервничать? А случилось вот что. Возле хозмага встретил его военком, однорукий капитан: зайди, медаль тебе вручим! Партизанскую. Не каждый день бывшему зеку медали выдают-выкроил время и забежал в дом из темно-красного кирпича. А капитан повел себя как-то непутево. Велел погулять еще с часик: он-де занят, не может оторваться от других дел. А когда повторно пришел Кучера, там сидел еще один военный — пухлый, как баба, майор в летчицких погонах. Откуда в такой дыре да такие летчики? Ну, летчик так летчик-где же обещанная медаль? Оказывается, военком связался с райкомом, а там возникла идея провеСти это дело организованно: вручать принародно всем сразу. Капитан почему-то очень суетился, а летчик разглядывал Кучеру с огромным интересом, как будто они знакомы были, и сейчас: ба, да это ты! — обнимутся-. Но не бросились друг другу в объятия, а Кучера ушел, почему-то ненавидя летчика. Это какой же самолет нужен, какая кабина под такого борова?

Снова встала проблема: как быть с Францем? Где ночевать ему, что отвечать, если кто-нибудь всерьез заинтересуется немым зятем Кучеры? А если самим Кучерой снова заинтересовались (скорее всего это!) да найдут в его доме беглого немца-быть трму летчику

подполковником, если не выше. Не слишком ли жирно для него?

И что станет с Полиной, с мальчиком: немецкая подстилка! Немецкий байструк! Мало, что фашисты изуродовали девку, теперь эти будут измываться. О себе самом Кучера, казалось, уже и не очень беспокоился. Берите, жрите со всем дерьмом, если вы никак не нажретесь! Если всю жизнь добираетесь, уему на вас нет!

Снова бедному Францу ночлег стали устраивать отдельно, хотели даже в лесу, а потом приспособили для этого несгоревший сарайчик на чужой селибе — это называлось: пошел Франц в примы! Полипа его провожала да и оставалась с ним иногда. А мальчик спал с дедом. Объяснение Кучера для них нашел такое: везде шарят, отлавливают полицаев, дезертиров, могут и сюда забрести. И еще одну вещь предусмотрел Кучера: так распланировать комнаты и чуланчики в новом доме, чтобы у Франца была своя хованка. Не привыкать это делать: научили фашисты, а еще прежде — и свои.

Кучеру время от времени проведывал его партизанский дружок, всегда румяный, всегда веселый и шумный Коляда Виктор. Работал он-где-то в леспромхозе, неблизком, а тут училась дочка в техникуме: привозил ей бульбу, рыбу, называя это «госпоставкой». И всякий раз завернет в бывшие Петухи и обязательно со своим «горючим». Не рассказывайте мне сказки, что зять непьющий! Не пьют или больные, или скупые. Ты что хочешь, Кучера, чтобы про зятя твоего такая поголоска пошла? А что немой, так он у нас сразу разговорится от «полесской бронебойной».

Всю тайну Кучера даже другу не выдал, хотя на всякий случай заговаривал с ним, что, мол, если что, помоги молодым. Хотя бы перебраться в твой леспромхоз, коли там и правда так вольно вам живется. А что? Ничего такого. Но все под Богом ходим. И Под НКВД. Про довоенное Коляда сечет с полуслова. В партизанах обсуждали почти в открытую. И даже теперь артачится Виктор Коляда: нас, партизан, лучше не трогайте, мы и фашистов не побоялись! Фашистов — да, но эти достанут тебя так, что забудешь, кто и что ты.

Похрабрится, побалагурит Коляда — и как бы веселее жить.

— Хорошо тебе, Полина, ты своему мужику что ни говори, а он в ответ молчит. Вот бы моей такое счастье. Или мне. В моем доме никто не молчит. Это как кому повезет. Вот эти два пальца, какой мне прок от такой руки (на правой у него лишь два пальца остались), а вот Черчиллю бы такую: Виктория! Победа!

Когда пал Берлин и даже до Петухов долетело: «Победа!» — решили отметить. Как раз и новоселье подоспело. «Дом, как звон!» — любой сказал бы. Но не каждому дано узнать, что дом этот с секретом.

Франц оказался прирожденным мастером по дереву, Кучера чуть-чуть направил, а дальше уже сам за ним еле поспевал. Францева придумка: дверь в секретный чулан-простенок сделать в виде жалюзи. Досочка за досочку заходит, поднял, опустил — и ты в простенке, как в пенале, всех слышишь, — а тебя не видят.

Дом еще пустоват, но стол смастерили, лавы вдоль стен, кровать, даже шкаф. Есть на что сесть, за что сесть. А тем более-войне конец. Тут и без понуканий Коляды выпьешь. Если есть что. Нашлось. Полина первая подняла свою капельку в стакане.

— Чтобы нашим Детям того не знать, что нам досталось.

Мужчины невольно посмотрели на солидно сидящего за столом Павлика й на ее, уже так заметный, «новый живот». Ловя улыбку Полины, ФранЦ вдруг понял: это же Моны Лизы улыбка, повернутая, обращенная вовнутрь! Да никакой другой «загадки» Моны Лизы не существует, помимо тайны ее беременности. В этом разгадка Джоконды: мать, улыбкой разговаривающая с ребенком, который в ней. (Вот что он сообщит отцу, когда снова его увидит. И не в Лувре, а в Петухах пришло к нему это понимание.)

Как бы уловив что-тэ в его мыслях, старый Кучера поднял стакан:

— За твоих, Франц, родителей. Чтобы встретились вы. Франц тоже встал, постоял. И сел.

— Ну и правильно, — согласился Кучера, — выпьем молча.

— Нет, попробую, — снова приподнялся Франц. Постоял, подумал: — Я убил человека. Если бы жил в Германии, считалось бы: убил немца. Здесь: убил нациста. Но и так и так — человека. Если по Евангелию. Я только не знаю, на ком тот еврей.

— Не на тебе, Франц, не на тебе! — привычно поспешила на помощь Полина.

Франц невесело усмехнулся:

— Разве что групповое. Но такое преступление оценивается даже земным судом строже. Только бы на них не упало.

И снова посмотрел на Павлика и на живот Моны Лизы.

16

И надо же, чтобы они свое государственное дело приурочили к тому времени, когда Полине подоспело рожать.

Кучера и Франц, оба одинаково растерявшиеся, грели в чугунах воду, а Полина, лежа в постели, стыдясь себя, стыдясь отца,

распоряжалась, что надо приготовить, с чем быть наготове, если это и правда роды. Собирались через неделю пригласить опытную бабку из соседней деревни, чтобы пожила в доме, дожидаясь срока. А тут, на тебе, началось! Теперь рассчитывать приходится только на себя-есть от чего растеряться.

На улице залаял Волк, по окнам полоснул свет от подъезжающей машины. Быстро в тайник — это они! Не крикнул, а показал Францу рукой, изменившимся лицом Кучера. И дочке:

— Ничего, ничего. Ты только не пугайся. Это у них ко мне разговор. По старым делам. А со мной ничего не сделают.

И тут под окном ударила автоматная очередь.

В свое время Иосифа Кучеру арестовало ОГПУ, затем НКВД. Сейчас к дому подъехало МГБ — в лице майора Короткого и двух его младших сотрудников. Тем самым Кучере оказывалось некоторое уважение. Все-таки партизан, у него могло сохраниться оружие. Можно было бы вызвать под каким-нибудь предлогом в район и там арестовать. Но вдруг заподозрит нехорошее и уйдет — лес-то рядом, для партизана привычный. Но даже не это главное. Кто-то не поверил бы, но майор Короткий знал: здесь не рядовой случай, тут высокая политика диктует правила, поведение. У руководителей МГБ на самом верху (а с этим не шути!) укрепилось, убеждение (подпитываемое встречной информацией с мест), что был допущен просчет, если не политическая ошибка, когда в освобожденной от оккупантов республике, в столице и на местах многие партийные и советские должности отданы были партизанским командирам и вообще всей этой партизанской пиз...братии. Считалось: они лучше знают обстановку и людей, были здесь в войну, хорошо ориентируются. Так-то оно так, да только Лаврентий Павлович уже во время войны не очень им всем доверял. Потому-то и посылал свои спецотряды из хорошо проверенных людей. Но за всеми уследить было невозможно. У них, у местных, сложилась и наладилась своя система связей и. кадровых оценок людей. Подменяющая идущую из Центра, порой даже с наглыми попытками самостоятельного выхода на Сталина. Сколько лет понадобилось Иосифу Виссарионовичу, сколько усилий стойло тем же органам, чтобы расколоть глыбы связей времен гражданской войны, добиться, чтобы нити, тяги власти шли исключительно сверху вниз, а никак не по горизонтали. Когда вместо строго контролируемых взаимоотношений на всех уровнях начинает господствовать система: «Вась-Вась». Я его знаю, я ему верю! Как будто это не компетенция исключительно органов: знать, кому верить, а кому нет. Они, дурни, рассчитывают, что Сталин их поддерживает.

Это кого же — закоренелых террористов? Этих как раз Иосиф Виссарионович больше всего и любит.

Вот и местный случай, пример. Органы, проводя работу по выявлению тех, кто, воспользовавшись нападением врага, убежал из тюрем, из-под охраны, вышли на след Кучеры Иосифа. Конечно, он прикрывается тем, что партизанил. Другие побывали на фронте, а некоторые и орденов нахватали. Но есть революционный правопорядок. Раньше получи положенное, а потом будем о новых заслугах твоих разговаривать. Особенно если и заслуги — с расчетом прикрыться. Вот тут у них и заработала система: «Вась-Вась». Амбиции партизанские. Все они были на оккупированной территории, в контакте с врагом. Кого оставляли, а кто и сам остался. Еще надо разобраться, зачем, с какой целью. Из-за какого-то Кучеры, и уже, пожалуйста, конфликт, вступаются, вмешиваются в работу органов. И даже в самих органах находятся такие. Туда тоже насовали своих партизанчиков.

Поговаривают, что до самого Сталина дошла нужная информация. И будто бы Иосиф Виссарионович попыхал трубкой, пососал и произнес такие слова:

— Партизанам и партизанкам слава! Которые отдали жизнь за честь и независимость советской родины. Ну, а кто примазался, на этих у нас есть проверенные большевистские методы.

Майор Короткий оставлен был в районе, когда развертывала свою сеть армейская контрразведка. По вот столько нахлебался этих местных амбиций, замаскированного национализма. Спросили бы его те, кто решает, он бы объяснил, откуда ноги растут.

Так что акция-арест укрывшегося врага народа-не простое изъятие какого-то колхозника. И поэтому поехал на задание сам майор Короткий. А перед этим не поленился, сходил в военкомат на опознание, куда по указанию органов зазвали этого партизана.

Поездка получается, однако, невеселая. И не в самой акции дело тут, причина, а в бородавке. Несколько дней назад он обратился к-знакомому врачу, прямо на улице встретил его и небрежно спросил, показал: что это за хреновина у меня там под воротником? И одеколоном и йодом прижигал — не проходит. Тот посмотрел, оттянув воротник летчицкого мундира: не хочу пугать, но анализ сделать надо. Отщипнем и пошлем в областную лабораторию. А прижигать не следует. Сердце сразу упало. Не поленился, в тот же день заехал в больницу. Уже пять прошло дней, а надо десять- чтобы был результат. Не хотелось ничего делать, так бы и лежал дома, дожидаясь вестей, добрых или злых. Но это не выход. С шариков скатишься. Решил

ускорить операцию с Кучерой, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. В машине все время ему не хватало зеркала, последние дни занят был тем, что становился перед трюмо, ручное зеркало заносил за голову и всматривался в зловеще расколовшуюся бородавку. Черная, как пьявка, гадина! Перед дорогой залепил пластырем, чтобы не так щемило, чтобы не беспокоить ее, барыню. Ты ее не беспокоишь, так она тебя. Про какие это «продолговатые клетки» говорили, шептались эти мерзавцы-врачи у него за спиной?

До нужного дома, до этих Петухов, добирались через лес, мощный американский «додж» выхватывал светом крутые повороты. В таких поездках майор Короткий обычно чувствовал себя превосходно, знал, что выполняет работу с немалым риском: сколько ползает еще последышей, недобитков, оставленных тут оккупацией. Никогда бы не поверил, что какая-то бородавка покажется страшнее бандита за кустом. И вот, пожалуйста, не смотрит на дорогу, а все вслушивается: как там под воротником? Щемит еще больше. От толчков, дерганья пластырь отклеился — врачи, так вашу!

Поэтому, когда навстречу машине бросился огромный пес, майор, не раздумывая, приказал:

— Стреляй!

Прямо из кабины собаку расстреляли автоматной очередью. Дверь оказалась незапертой, что майору Короткому не понравилось. Были в этом какой-то вызов, самоуверенность хозяйчика.

— Смело живем! — вместо «здравствуйте!».

— Немцев прогнали, у себя дома, кого нам бояться? — ответил невысокий, майору уже знакомый старик. Седая голова, а усы, бородка темные, будто подкрашенные. Интеллигента из себя строит.

— Собака но привязана. Пришлось привязать нам.

— Значит, имеете право, если стреляете.

— А это кто у вас?

— Дочка. Извините, рожать вздумала.

Ишь, все с подковыркой, с издевкой. Посмотрим, посмотрим, как запоешь.

— Есть еще кто-нибудь.

— Сынок на печке. Мой внучек.;- А муж?

— Мужья теперь, сами знаете…

Майор не стал добиваться уточнения. Черт, загвоздка! Как ее тут одну бросишь, роженицу? Хорошо, что из сельсовета прихватили с собой понятого, ему и поручить, чтобы привез акушерку.

Лишь тень майора, — лампа свисает с потолка, — заполняя просторную комнату, перемещается по бревенчатым стенам, по

дощатому потолку. Все остальные ждут его распоряжений; понятой, держа картуз у колен, замер у порога, младшие офицеры дежурят у окон, старик возле постели с роженицей.

Сказал женщине как можно мягче:

— Извините, незваные гости всегда не вовремя. Если бы мы знали…

Сам внутренне усмехнулся: ну а если бы знали? Отменили бы акцию? Смешно. Надо приступать.

— Обойдемся без протокольных формальностей. Вы-Кучера Иосиф Герасимович.

|- Совершенно точно.

— Год рождения, прочее — потом. Партизан, насколько нам известно?

— С сорок первого.

— Знаем. Даже то, что ранение имеете.

— Ничего, на победителях, как на собаке, раны затягивает мигом.

— Допустим, хотя собаки тут не к месту. Оружие имеете?

— Сдал, как положено. По списку: полуавтоматическую винтовку СВТ, две гранаты, пистолет системы «наган».

— Это вы правильно сделали. А то один вот так жил на отшибе, пожар приключился, так на том месте, где гумно стояло, танк! Вылез, пожалуйста. Как из штанов. Но, говорят, это в Западной Белоруссии было.

— Всякое рассказывают. Чудаков на свете хватает.

— Чудаков или врагов?

— А это как посмотреть.

— Ну, что, темнить не будем? Знаете небось зачем пожаловали?

–

— Догадываюсь. У вас теперь красные погоны. А были, помните, небесные, летчицкие.

— И я вас узнал. Так что можно без лишних церемоний. Приступайте, — приказал своим сотрудникам.

— Дом, как видите, пустой, найти, если что есть, легко, — поощрил хозяин.

— А все-таки поищем. Приступайте. На чердак где лестница?

— Там, в холодном помещении.

Майор подсел к столу, постучал ногтями по дереву (так делал

кто-то из больших чинов в каком-то кинофильме) и спросил немного не своим голосом:

— Вам не стыдно?

— Это чего же мне стыдиться?

— В глаза Советской власти, народу смотреть не стыдно?

— Это вам? Вроде бы не очень.

— Значит, то, что народный комиссариат в третий раз вас вынужден арестовывать, — плевать на это?

Кучера хотел ответить этому толстогрудому и толстозадому, как баба, хмырю, но глаза его встретились со взглядом дочери, он сразу обмяк, плечи опустились, промолчал.

Майор неловко повернулся, и тут же воротник задел проклятую бородавку — это помешало Короткому посмотреть, вникнуть, чей кашель глухо прозвучал где-то за печкой. Но с печки донесся голосок (ах, вот кто это!):

— Не обижайте дедулю. Я папке скажу.

— Ты там где? У, какой грозный! Покажись, казак. А где твой папка?

— Папа придет и вас набьет! — Павлик грозит из-за печной трубы, не открываясь врагу. Толстый дядька его не видит, а мамка, лежа на подушке, делает страшные глаза, аж смешно. Пообещал толстому:

— И за мамку набьет.

— Скоро внучек, скоро татка придет, — вмешался старик и пояснил майору: — Рюго увидит, сразу: мой папка! Вы уйдете, будет всем рассказывать, что у него папа военный, в ремнях весь.

Франц, задавив в себе предательский кашель, лежал в своем пенале на топчане, им же сколоченном, лицом в ладони. Видимо, древесная пыль, вдохнул неосторожно.

Вслушивался в разговор за стеной, в стуки, шаги, старался поймать голос, хотя бы стон Полины, но ее как бы и нет там — что, что происходит, зачем они приехали? Голоса: отца и незнакомый, такой уверенно командный, военный — только они слышны. О «немце» вроде бы ни слова. Тогда что их привело? Почему так наседают на отца, чем он провинился? Их здешняя жизнь, с которой Франц и знаком вроде бы, но и не знает совершенно. А потому невольно ищет аналогии с тем, что уже было. И что было бы, могло быть, если бы это в Германии происходило. Когда прозвучала во дворе автоматная очередь и завизжал пес, а Франц еще только приподнял хитро сделанную стенку, чтобы заползти в свой «пенал» (или гроб — называй, как тебе больше нравится), ему показалось, что все

вернулось к тому моменту, когда из дома, потом сгоревшего на этом самом месте, вот так же уползал в нору. С Полиной, со старухой. Тогда было ощущение обвала, катастрофы, но разве мог предположить, какие еще испытания ждут? Его и еле знакомую тогда девушку. Но это была война, все думалось, все надеялись: вот закончится война! только бы кончилась и остаться живым вместе с близкими твоими! Она позади, война, — для всех, кроме Франца. Даже для рухнувшей Германии и, если живы, для родителей-закончилась. Как бы там теперь ни было, какая-то определенность наступила. У Франца именно этого нет, определенности. Своя жизнь оборвалась, а та, которой он живет, — лишь примеривание к чужой, натужное старание удержаться на плаву, не пойти ко дну. Держится игрой случая да еще волей этой поразительной девушки-женщины, которая встретилась ему на пути. Но лишь до того момента, как узнают, что никакой он не немой, а немец. Тотчас Полину с детьми и его отнимут ДРУГ У друга, а дальше — какая разница, какую судьбу предпишут ему здешние законы, порядки? В лагерь ли, в Германию ли? Но у него есть и в Германии семья: отец, мать, сестры. Остаться навсегда здесь — потерять их. Если уже не потерял. Старый Кучера показывал ему журнал с фотографиями: что осталось от немецкого Дрездена и японского города Хиросима. Черные руины, пустыня.

О чем же они так сердито, даже грозно беседуют со стариком, если не ради Франца прибыли? Чего-то ищут: слышно, как топают по потолку, над головой. Что, тех самых беглых полицаев, дезертиров разыскивают?

Были минуты, когда Францу все-таки хотелось, чтобы его нашли, и кончилась бы неопределенность, неприкаянность. То, что мучило все время, в эти минуты стало невыносимо: он оторван от Фатерланда, но и эта страна — что он для нее или она для него? Да, Полина, дети — вот-вот встреча со вторым ребенком-но, оказывается, даже этого мало человеку. И не только какому-нибудь индусу: там, если изгнан из касты (читал про это) — ложись и помирай! Тебя нет, повис над пустотой. Умирают, тихо, безропотно.

Понимал: вызревает мысль, предательская по отношению к Полине, к собственным детям, но что может человек, если любой его шаг навстречу собственным чувствам, — уже предательство. Тогда, в первой норе, прятался предатель Германии, фюрера. В этом пенале-гробу затаился некто, готовый собственных детей предать. Но вдруг так захотелось ему оказаться, пусть за колючей проволокой, но со всеми вместе. С немцами. С теми, кого еще недавно страшился больше всего на свете. Но все переменилось: они в плену, они

страдают, погибают от болезней, голода. И все равно счастливей его. У них есть надежда вернуться в Гер.... зопилой, потом перевели к распиловочному станку. Работа нелегкая, но ему очень нравился запах работы: хвойные опилки, мазут. Не был бы то немец. Сюрприз: на лесопилке и еще немцы есть, работают, недалеко лагерь военнопленных расположен. Вот это новость так новость! Франц даже не ожидал, что это его так взволнует, когда услышал впервые немецкую речь и увидел знакомую армейскую форму, изношенную, замазу-ченную донельзя. Вслушивался, о чем между собой говорят. О еде чаще всего, о Германии, но и о нормах, о плане. Ну, прямо советскими стали — больше, чем сами советские. Те вечно про рыбалку да чем бы похмелиться, а немцы: нормы, сколько выполнили, надо еще сделать. Потом разобрался: им идет зачет, и перевыполняющих нормы раньше отпустят домой, в Германию. Аж затосковал Франц: а кто зачитывает то, что довелось ему испытать, разве что Господь Бог? Поговорить бы с ними, истосковался по самой немецкой речи, чует, что Скоро не выдержит, выдаст себя. Что удивило: отношение к недавним врагам местных рабочих, а женщин особенно — абсолютно беззлобное, будто и не было всего, что было. А однажды чуть не вмешался неосторожно в происходящее, возмутившись своими немцами. (Так кто я-се ему теперь больше свои?) Коляда принес Францу обед, при этом он из сумки достал огромное кольцо хорошей колбасы: отрезал себе, Францу, а большую часть отдал молодому Гансу, который давно раздражал Франца ухмылками, издевательскими замечаниями о местных людях. Особенно о женщинах. Когда о Полине сказал однажды такое, Франц еле сдержался, чтобы не наброситься на него с кулаками.

Приняв королевский дар от Коляды с угодливой улыбкой, поблагодарив русским «спасибо», Ганс почему-то и не подумал поделиться с двумя своими напарниками-немцами. Сунул, наглец, колбасу за пазуху и как приговор огласил: ничего у них не будет никогда, если такими кусками разбрасываются!

Вот и люби «своего» за то лишь, что он свой, а не чужой. Но Франца поражали и его новые «свои», с ними тоже не соскучишься. У Коляды была невзрачная собачонка со странной кличкой Кабысдох. По определению хозяина: помесь метлы со скамейкой. Всегда бегала за ним на рыбалку.

В воскресные дни приглашал порыбачить и Франца. Научил его обувать лапти и даже плести их самому-Франц вынужден был согласиться, что не одна лишь бедность придумала эту лозовую обувь, но и смекалка. Пошел однажды в резиновых сапогах, так замучился,

черпая грязь голенищами, а тут-что затекло, то и вытекло. Легко, удобно. Конечно, бывает, что и озябнешь, «как тютик» (т. е. собака), ну, а от этого известно, такое есть лекарство. Коляда, показывая на жен, жаловался: они думают, что мы для удовольствия пьем, а мы — для здоровья. На рыбалку два маршрута: короткий — на Черное Озеро, длинный — на Припять, река не уже Рейна. Вода в торфяном озере угольно-черная, зачерпнешь ладонью — масса взвешенных частичек, и тем не менее ощущение удивительной чистоты, даже стерильности. Говорят, лечебное озеро, и в это ¦ можно поверить. А вот рыбы в нем маловато, тощая, мелкая. Зато на Припяти столько брали рыбы «топтухой»-так здесь называют на прутьях распятую сетку, — что и телега бы не помешала, донести было тяжело. Держи покрепче огромный сачок и не ленись, загоняй ногами в него ленивых сомов, с кабана весом. По Припяти медленно проплывают бесконечные плоты, крепежное дерево для угольных шахт Украины-ощущение простора, первозданное™. А дубы, дубы — над водой и вообще куда ни кинь глазом! Что-то похожее, такие же массивы дубрав, при подъезде к Берлину. Будет, о чем рассказать отцу. Любит он экзотику — ив людях тоже. Ему определенно понравился бы Коляда. С этим человеком не заскучаешь.

Собрались как-то с Колядой идти на озеро, снарядились, как обычно, а Кабысдоха нет. Странно, Коляда сел на бревна, что за домом, и Франца пригласил: мол, подождем, когда прибудет пес. Франц уже привык к чудачествам своего друга и, не спрашивая, уселся ждать.

У Кабысдоха хвост кольцом, «колбаской», как у многих дворняжек. И вот он бежит уже с двумя «колбасками» — вторая в зубах, натуральная колбаса. Такая же, какой Коляда Ганса одарил. Пес несется прямо к хозя ину, а тот уже и нож приготовил. Принял подношение из зубов дворняги, покусанное место отрезал и ей же бросил. Как делают охотники на уток или зайцев. Тоже отрезают и бросают лапку собаке. Все, пошли! Ничего Францу не объясняет, будто и без того все понятно. Но увидел, что немой скоро завопит от удивления, снисходительно растолковал. Да ничего особенного. Этот стервец вынюхал дорожку в подвал продуктового магазина, взялся таскать колбасу через разбитое окошко. Коляда и сам вначале не понял ничего, когда пес впервые добычу притащил, потом снова, а в третий раз решил за ним проследить. И увидел, как это он делает. В тот раз Маруся не кольца колбасные, а «палки» завезла в магазин. Так этот дурак, ну, никак не сообразит, что надо за конец брать, а не посередке. Бился, бился перед решеткой и ни с чем прибежал.

Пришлось научить немножко, бросая обыкновенную палку, как ее надо хватать. Но кольца стервецу все равно нравятся больше. Вот и сегодня. Честная собака, все приносит хозяину! Ну, как, фатер? И этот-то народ мы хотели заставить работать на Германию?

Все труднее было Францу разыгрывать роль немого в доме Коляды. Во-первых, Павлик не знает, что его папка немой, и общается с ним прилюдно, как со всеми, требует, добивается ответов на свои бесчисленные вопросы. И, естественно, недоумевает, что татка- его вдруг перестает с ним разговаривать, «ни мычит, ни телится». И кроме того, Францу уже стыдно обманывать добрых людей. Особенно умницу женщину, Коляды жену. Францу все время кажется, что его секрет для нее давно никакой не секрет. У Павлика расспросить могла, а возможно, и Полина проговорилась. Глаза у нее насмешливые делаются, когда Франц объясняется с нею жестами и действительно мычанием. Однажды он в ее присутствии заговорил с Павликом, как это делал, когда никого постороннего вблизи не было. Когда увидел, какие глаза сделались у хозяйки, спохватился и понял: она ни о чем не догадывалась!

— Так вы... Так что же это?.-сама почти онемела, мычит, как Франц до того.

В тот же вечер они с Полиной рассказали всю свою историю хозяевам, одиссею свою, начиная с того утра, когда судьба Франца переломилась надвое и их жизни пошли бок о бок. Полина не могла не плакать, тем более что хозяйка просто рыдала, по-видимому, и над собственной судьбой: после блокадных болот она стала полным инвалидом. Но вот не будь то женщина: Полина плакала еще и оттого, что теперь, когда Франц уже не «немой», всем гораздо заметнее будет, что жена у него «черномордая уродина». (Впрочем, скажи ей кто-либо, что и эта горечь в ее слезах, удивилась бы и запротестовала.) А Коляда все поминал Кучеру, это ж надо, таил, не поверил даже другу. А разве Коляда не понял бы, он что- энкаведист или стукач? Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается.

Договорились, как выводить Франца из немоты, чтобы не посеять к этому чуду нездорового интереса. Коляда предложил: «Черное озеро», оно излечило! Ну, а говорит Франц уже почти без акцента, давно можно было выходить из подполья.

— Ты только не перестарайся! — предупреждала Коляду его жена. — А то я знаю тебя. Такого напридумываешь, что и дурень догадается.

Франц жадно слушал радио (иногда, как бы случайно, крутил и заграницу по старенькому приемнику), читал газеты. Хоть бы одним

глазом заглянуть туда, где остались его немецкие близкие. Все резче друг о друге высказываются вчерашние союзники, а Германия в руинах. Нищета и злоба. Все, как было перед войной. Хотя людям столько лет еще надо, чтобы выбраться из развалин, из вражды минувшей войны. В газетках небольшого формата с грязной печатью, которые тут никто не читает, а используют на курево, Франц напрасно искал что-либо про Дрезден. В них больше про американцев. Все выглядело так, будто не с Германией русские воевали, а с американцами. И теперь надо освободить немецкий народ от западных плутократов: ну, совсем как о Версальском договоре писали перед войной. Новая схватка, уже между победителями, вот-вот вспыхнет. Хотя еще пленные домой не добрались. А Франц и вообще неизвестно когда и как сможет попасть в Германию. После еще одной войны?..

А тем временем они с Полиной и с детьми обживались на новом месте. По вечерам и рано утречком Франц мастерил-столярничал в доме Коляды, который теперь и их дом, Полина поделила обязанности с хозяйкой: та присматривала, насколько в силах была, за детьми, Полина хлопотала на кухне, в огороде. В местах старых вырубок подготовили огнем и топором, разделали делянку (круглое слово: «лядо»!) — под просо. Франц вдруг ощутил вкус к такому именно хозяйствованию, первобытному, а по определению Полины-«дикарскому». Поглядели бы мутти и фатер на своего сына: босой, в черных от сажи армейских галифе, торс, как у африканца, и весь в грязных подтеках пота, впрягшись в немыслимую борону- всего лишь обожженная вершинка ели, суковатый еж, — таскал ее сучьями вперед из конца в конец поляны, вздирая покрытую пеплом землю. Полина прибегала к нему с обедом (соленые огурцы и грибы, рыба, картошка, хлеб), как же она хлопотала возле бедного своего, как она считала, каторжника. И не верила, что белозубая «негритянская» счастливая улыбка — это всерьез, что такая работа может кому-то нравиться. А Франц и впрямь испытывал незнакомое прежде чувство полноты жизни. Пытался объяснить жене: именно так, именно голыми руками один на один с природой, и вот, пожалуйста, не пропали бы с Полиной и детьми — без всякого государства, без всякой власти. Вот увидишь, вырастет просо, каша будет, разваристая — ложку проглотишь! Глупости, фантазии, но это Франц, не зря она любит его, никого другого рядом с собой представить не может. Но на всякий случай говорила:

— Знаю, почему тебе хочется без людей, в диком лесу жить. С такой женкой — ни себе, ни людям показать!

И привычно держится рукой за щеку. Левый глаз у Полины, немного слипшийся, видит, но все равно не как у людей. Франц не спорит, просто смотрит, но так, что вспыхивающая румянцем Полина смело убирает руку.

— А, как хочешь! Какая есть, такая есть! — говорит с притворным безразличием, а в глазах все равно близкие слезы.

18

Увидел Франца я впервые, всю его немалую семью на партизанской встрече в лесу близ деревни Зубаревичи. Это были уже хрущевские 60-е, такие встречи сделались разрешенными, регулярными, обычно 9 Мая. «Романтики сталинизма», а именно так хочется назвать многих партизан этого времени, приняли из рук разоблачителя их «главнокомандующего» то, к чему сам он, Сталин, близко их не подпускал, но «Никиту» тем не менее недолюбливали, а «генералиссимуса» по-прежнему почитали. Так и не узнали, а узнали бы, не поверили, что готовил и им кровавую баню, может быть, сразу же после евреев, и только смерть помешала ему отблагодарить их по-сталински.

К этому времени на местах уже произошло «омоложение кадров» — в райкомах и райисполкомах на смену бывшим партизанам пришли другие люди, но в центре, в Минске, они сидели плотненько, а потому районные руководители такие партизанские праздники организовывали со всем партийным размахом. Высылали на «места боев» буфеты, заранее сооружали где-нибудь на лесной поляне или у речки трибуну, выделяли собственных ораторов, наструнивали сельских учителей, этих безропотных пристяжных во всех подобных мероприятиях, колхозников старались не занимать срочными работами и даже собственным начальственным присутствием освящали выездные попойки. Как если бы к ним приехало начальство из области или из самой столицы. Помнили: завтра кто-нибудь из этих партизанчиков запросто повстречается с Мазуровым или Машеровым да и поделится впечатлениями о постановке патриотического воспитания в таком-то районе.

Ну, а мы, рядовые народные мстители, настроены были мирно-ностальгически даже по отношению к тем из своего бывшего начальства, кого на дух не выносили. Сами же наши начальники продолжали выяснять, кто кого обскакал после войны и по заслугам ли. Но случалось, что жизнь и нас сталкивала лбами. Да нет, не жизнь, что нам было делить, а вполне определенные, компетентные в таких

делах органы. Мне, например, с какого-то времени ездить на такие встречи расхотелось, хотя многих повидал бы с радостью. Как-то совестно было встречаться с веселым своим комбригом, который, простецкая душа, подписал против меня коллективное письмецо в белорусской газете с гневным полковничьим осуждением «пацифиста» и «абстрактного гуманиста». Ну что, выяснять с ним, какие бывают гуманизмы? Абстрактные, не абстрактные? Глупее не придумаешь. Или такое же письмо моего одногодка, который аж в московской «Красной звезде» излил свое огорчение, что довелось ему партизанить с человеком, клевещущим на наших героических генералов.

Но первое время мы ездили на такие встречи очень охотно. (После лишь брат мой туда отправлялся, а мне привозил приветы.) Вот там я и увидел Франца, его обширное семейство. Возле машины-буфета толпились чисто одетые колхозники, в основном женщины с детьми и подростки, в глаза бросился высокого роста голубоглазый мужчина в простоватом суконном костюме и в галстуке. Он только что принял от буфетчицы на двух тарелках хлеб и горку сосисок, и его окружили подростки — сколько же их, не пятеро ли? Невысокая полная женщина (таких у нас предпочитают называть: женщинка, и еще очень хорошо ложится слово: кобе-та, кобетка), пошумливая на эту орду, начала делить, сосиски-по одной каждому. На голове у нее темная косынка, хотя платье веселое, цветастое. А приглядеться если, увидишь, что левая щека у женщины повреждена, как бывает от близкого взрыва.

— Поля, есть апельсины, может, купим?

Заметно, что этот муж советуется со своей кобеткой постоянно.

— Ой, мабыть, дорого?

— Но им же хочется.

— Хочется! Хочется! — подтвердила орава.

И тут же очень живой черныш поинтересовался у девочки, у самой, по-видимому, младшей:

— А купило у тебя есть?

— А у ця-ябе?

Ох, ты какая певунья!

Когда в, семье много мальчиков, а самая младшая-девочка, она обычно общая любимица. Заметно сразу, что и здесь так же. Вполне воз можно, что их так много, мальчиков, потому, что родители хотели де вочку и все «добирались» до нее. Так что ей эти сорванцы обязаны своим появлением. Окликают свою благодетельницу они нездешним именем:

Марта.

Вряд ли надолго запомнил бы эту хорошую, счастливую семью, когда бы после не услышал такой разговор:

— А видели тут немца? Чуть не двадцать лет его прятала женщина в подвале.

— Ну и ну! Фрица?

— Да, фрица. Детей кучу нарожали, а потом объявился. На торфоза ваде работает.

А потом и в самом Минске услышал о нем.

Как-то у меня появилась необходимость зайти в «первый отдел» Академии наук: мы уже стали выезжать по туристским- путевкам за рубеж, а за той железной дверью хранились наши «дела», по которым сверялись подобные желания с возможностью их осуществления. Какая-то печать мне понадобилась. Обнаружил за высоким барьером маленького человечка: мне незнаком, но на меня смотрел, как на известного ему вдоль и поперек, со всей требухой. Я, конечно, не удивился: а как еще может; смотреть человек («первый отдел»), у которого под руками, перед глазами вся твоя подноготная, даже то, о чем сам не знаешь и не подозреваешь?

Но он посчитал нужным узнающий свой взгляд объяснить совсем просто:

— Вы же родом, со Слутчины? Я тоже оттуда. Совсем недавно в вашей Академии.

Не был бы то провинциал, тут же сообщил, что прежде работал в рай исполкоме, но переведен сюда после известного «Слуцкого дела». Живой свидетель! Я не мог не воспользоваться неуставной разговорчивостью земляка, попытался узнать обо всем поподробнее. Кое-что уже было известно. Весь сыр-бор разгорелся с убийства, но не рядового: работник райисполкома пристукнул в подъезде такого же, как и сам, молодого парня. Молодежные страсти. Но кроме того, что власть бьет граждан по голове в каком-то подъезде, было и еще одно будоражащее обстоятельство: убийца-сын полицая, а убитый-из партизанской семьи. Для Белоруссии это, как оказалось, не безразлично и через десять, и через двадцать лет после войны. Те нас убивали тогда, а эти теперь! Особенно обсуждалась та подробность, что «полицейский» ведал «культурой» в исполкоме, а всем известны обязанности такого работника: межсобойчики, сауны, отдых на природе для начальства, женская обслуга. Ясно, что такого полезного работника начальство не оставит попечением и заботой и наказания за преступлением не последует. Завязался такой клубок слухов, пересудов, страстей, что развязать его можно было лишь открытым, гласным, на виду у всех разбирательством и судом. Начальство же

поступило как раз наоборот (еще не хватало идти на поводу у масс!) — суд состоялся в заболотном райцентре, в комнатушке для десяти присутствующих. За окнами же и стенами суда собрались сотни, а на второй день и тысячи людей, со всей округи, из самого Слуцка. Небывалая для республики ситуация. Видно, нанесен удар был в какой-то потаенный нерв белоруса, народа, которого за незлобивость и добродушие хвалили сам Иосиф Сталин и сам Альфред Розенберг. (Похвалив, прошерстили до незалечимых проплешин и шрамов.)

А тут еще жена подсудимого: несколько раз появилась, дура, из помещения, куда других не пустили, и фыркала на женщин: чего слетелись, воронье, ничего вам не обломится, не засудят моего мужа!

Что тут правда, а что позднейшие выдумки, сказать трудно. Одно известно точно (и кадровик подтвердил): судящие перетрусили, они переодели подсудимого в одежду милиционера и провели через толпу. Но сами уйти не смогли: стало известно о побеге убийцы! Толпа пришла в ярость. Остановили проезжавшую мимо машину, груженную торфяным брикетом, забрали канистры с бензином, облили здание и подожгли. Милиционер, переодетый в костюм подсудимого, выпрыгнул из окна, повредил позвоночник. А судья сгорела. Ужас чего натворили сообща толпа и начальство! Воинскую часть прислали, те отказались стрелять. Но подошла другая, более надежная (говорили: кавказцы), усмирили толпу. В газете было коротенькое сообщение: по такому-то делу стольких осудили, таких и таких — к высшей мере.

Под конец кадровик сообщил:

— А вы знаете? Наверно, не слышали? Там немец участвовал. С войны еще притаился. Подогнал машину, бензин им привез.

Да (я потом разузнавал), это был Франц. Только все происходило чуть-чуть по-другому. У наших «органов» слабость к сочинительству. А было все проще: по обычному своему маршруту Франц проезжал на машине, вез торфяной брикет. Перегородили дорогу, бензин и все, что им надо было, распаленные люди взяли, не спрашивая шофера. Но Франца обвинили в соучастии, или пособничестве или в чем-то другом и посадили. Три года Полина с детьми дожидалась его, а вернулся — уехали по вербовке в Сибирь. Еще до Чернобыля. Где-то там, на севере, они теперь. Если не увез их Франц в объединенную Германию. Возможно, кто-то из немецкой его семьи живой остался. Столько ему да и Полине вынести довелось, что хотелось бы для них хоть немного жизни поспокойнее.

Но почему-то грустно было бы узнать, что они все-таки уехали.

P.S. Я работал над этой историей, когда в санаторий «Подмосковье» мне позвонили из Мюнхена — сотрудник радио «Свобода», мой земляк Василь Круп-ский. Родом он с нашей Витебщины, фамилия по отцу — Фрейдкин, почти весь род Фрейдкиных в войну нацисты уничтожили. Поговорили о деле, которое имел ко мне, а затем Василь вспомнил про наш с Элемом Климовым фильм. Картину «Иди и смотри» в 85-м я возил в Западную Германию, устроительница Майыгеймского фестиваля неутомимая женщина без возраста фрау Фэй Вайан посоветовала мне быть готовым к жесткой дискуссии. А вообще можно было ожидать (меня в Москве всерьез предостерегали), что неонацисты подожгут кинотеатр. Неприятный не для одних-лишь нацистов фильм у нас. получился. Во время XIV Московского кинофестиваля я был свидетелем такой сцены в Кремле: известный западногерманский кинорежиссер, хороший знакомый Элема Климова, упрекнул его в излишне жестком показе немцев. Глаза у Элема побелели (знакомое мне его состояние — по нашим встречам с руководителями Госкино): «Ах так! Да мы вот такую капелечку правды показали. Вот в следующий раз — на полную катушку!»

В Мангейме диспут получился яростный, но мне в нем участвовать не пришлось совершенно. Сидел на краю сцены, спустив ноги в зал, и всего лишь наблюдал за схваткой немцев с немцами. Двух поколений: побывавших на войне и молодых. «Ах вот вы чем там занимались!» — а ветеранам, конечно, обидно.

Василь Крулский рассказал тут же по телефону про похожую ситуацию, историю в Мюнхене: он пригласил к себе молодых немцев и показал им фильм. Один из гостей попросил кассету и прокрутил ее родителям. Посмотрел с ними фильм и ушел из дома. К Василю приходил потом немец-отец, плакал и уверял, что хотя служил в Белоруссии, но был всего лишь «при лошадях». Просил, умоляя помочь ему вернуть сына в семью.

Ну, а если целые народы побежали друг от друга, казалось, на всю свою последующую историческую жизнь напуганные существованием в тоталитарном крысарии? Как сейчас мы бежим, схватившись за голову. От других убегаем, как от самого себя. Потому что от собственной памяти пытаемся укрыться.

И в то же время возвращаемся, возвращаем себя друг другу — мы с немцами. Значит, ничего нет окончательного в этом мире. В этом и наша надежда.

Апрель-август 1992 г.